

Стивен Фрай

Дури еще хватает

ВОСПОМИНАНИЯ



18+

Обо мне и о моей
жизни можно сказать
всё, что угодно

Стивен Фрай Дури еще хватает

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10399682
Дури еще хватает. Роман. – Пер. с англ. С. Ильина.: Фантом Пресс; Москва; 2015
ISBN 978-5-86471-705-9*

Аннотация

Биография Стивена Фрая, рассказанная им самим, богата поразительными событиями, неординарными личностями и изощренным юмором. В Англии книга вызвала настоящий ажиотаж и волнения, порой нездоровые, – в прессе, королевской семье, мире шоу-бизнеса и среди читающей публики. А все потому, что, рассказывая о своей жизни, Фрай предельно честен и откровенен, и если кое-где путается в показаниях, то исключительно по забывчивости, а не по злему умыслу. Эта книга охватывает период зрелости – время, когда Фрай стал звездой, но еще не устал от жизни. И это самый скандальный период его биографии: жизнь и творчество национального достояния Британии держались на весьма сомнительных опорах, в чем он и признается себе и всем спустя двадцать лет. Фрай ничего не утаивает, выкладывая все как на духу. Вас ждут встречи с друзьями и близкими Фрая: с Хью Лори, сестрой Джо, Беном Элтоном, Эммой Томпсон, Роуэном Аткинсоном и многими другими звездными персонами. Фрай рассказывает удивительные, почти анекдотические истории о своих приключениях в компании принца Чарлза и принцессы Дианы, лондонской полиции, оксфордской профессуры и прочих персонажей. Приготовьтесь к невероятным взлетам и падениям вместе с одним из самых обаятельных, остроумных и просто умных людей нашего времени.

Содержание

Глава первая	5
Повторение пройденного	7
Весьма нескладно, но... в правильном духе	9
Вопрос морали или медицины?	33
Ранние дни	37
Конец ознакомительного фрагмента.	48
Примечания переводчика и редактора	

Стивен Фрай

Дури еще хватает

MORE FOOL ME by Stephen Fry
Copyright © 2014 by Stephen Fry

Книга издана с любезного согласия автора и литературного агентства «Синописис»

Фото из архивов Стивена Фрая, Хью Лори, BBC Photo Library, ITV/Rex Features, Immediate Media

© Сергей Ильин, перевод, 2015

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2015

* * *

Глава первая

Мемуары, посвященные шоу-бизнесу, большой привлекательностью не отличаются. Сама по себе линейная хронология успехов, провалов и совершаемых наудачу попыток пролезть в новую для тебя сферу достаточно скучна. А тут еще необходимость избрать способ описания твоих соратников и современников:

«Она была *восхитительной* партнершей, всегда *невероятно* забавной, страшно веселой и участливой. Знать ее означало – *обожать*».

«Его талант захватил меня сразу. До чего же *великолепен* был он во всем, за что брался. В нем присутствовал блеск, своего рода светозарность».

«У нее всегда находилось время для почитателей, какими бы назойливыми те ни были».

«Какой же это был *совершенный* брак, какими *идеальными* супругами они были. Воистину золотая пара».

Я мог бы описать здесь актеров, ведущих или продюсеров телепрограмм со всей точностью, оставив в стороне лишь их серийное многобрачие, хроническое домашнее насилие, разнузданный фетишизм и умопомрачительные покушения на бутылку, порошки и пилюли.

Но имею ли я право на такую честность по отношению к другим, какая сулит им шишки, синяки и ожоги? Я более чем готов быть жгуче и уязвительно честным на свой собственный счет, однако мне попросту недостает качеств, которые позволили бы поведать миру, что продюсер Ариадна Бристоу есть агрессивно порочная, вероломная сучка, которая то и дело выставляет на улицу своих ни в чем не повинных подчиненных лишь потому, что они как-то не так на нее посмотрели; или что Майку Дж. Уилбрахему, прежде чем он сможет хотя бы начать обдумывать подготовку к съемкам очередной сцены, необходимо отсосать у микрофонного техника, засунув при этом палец в зад второго кинооператора. Все это несомненная правда, беда только в том, что нет на свете никакой Ариадны Бристоу, как, впрочем, и Майка Дж. Уилбрахема. ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?

Актеру Руперту Эверетту удастся в его автобиографических сочинениях продемонстрировать язвительность двух, так сказать, сортов: стервозную и вкрадчивую. Получается очень смешно, однако я и думать боюсь о том, что меня могут счесть способным на сочинительство подобного рода. Впрочем, я рад порекомендовать вам оба тома его автобиографических воспоминаний, «Красные дорожки и прочие банановые шкурки» и «Пропащие годы». Идеальное чтение для отпуска и на Рождество.

Итак, мне следует подумать о том, как представить вам третье издание моей жизни. Должен признать, что написание этой книги было поступком таким тщеславным и нарциссическим, какой только можно вообразить. *Третий* том истории моей жизни? Существует множество вполне пригодных для чтения однотомных биографий Наполеона, Сократа, Иисуса Христа, Черчилля и даже Кэти Прайс^[1]. Так какое же право имею я утомлять публику еще одним потоком анекдотов, автобиографических сведений и исповедальных признаний? Первый написанный мной том содержал воспоминания о детстве, второй – хронику университетской жизни и удачного стечения обстоятельств, позволившего мне начать карьеру актера и сочинителя, а также замелькать на радио и телевидении. Между концом второй книги и вот этой самой минутой, в которую я набираю данное предложение, залегло больше четверти века, я провел это время, бестолково снимаясь на телевидении и в кино, выступая по радио, сочиняя то да се, влипая в те или иные неприятности и обращаясь в типичного представителя умалишенных, твиттеристов, гомосексуалистов, атеистов, обладателя неприятнейшей всепролазности и любых иных качеств и явлений, какие приходят вам в голову, когда вы меня видите.

Я исхожу из предположения, что, открывая эту книгу, вы уже более-менее знаете, кто я такой. И прекрасно понимаю – да и как может быть иначе? – что, если человек пользуется известностью, люди должны как-то к нему относиться. Есть те, кто меня на дух не переносит. Я хоть и не читаю газет и не подвергаюсь оскорбительным нападкам на улицах, но достаточно хорошо знаю, что среди британской публики и, осмелюсь сказать, публики иных стран немало людей, которые считают меня кичливым, назойливым, лживым, самодовольным, себялюбивым, псевдоинтеллектуальным и нестерпимо действующим на нервы – черт знает кем. И мне понятно, по какой причине. Есть и другие – люди, которые чаруют и смущают меня бурными восторгами на мой счет, осыпают меня хвалами и приписывают мне качества без малого божественные.

Я не хочу, чтобы эта книга получилась чрезмерно застенчивой. Мне есть что сказать о конце 1980#х и начале 1990#х, хотя, возможно, вы сочтете мой рассказ бессвязным. Надеюсь, что, пока я буду перескакивать от темы к теме, какая-то хронология образуется сама собой. Разумеется, без анекдотов того или иного рода мне обойтись не удастся, но рассказывать вам о частной жизни других – это не мое дело, я могу говорить только о своей. Что касается жизни правильной, организованной, тут я считаю себя человеком несведущим. Возможно, потому я и впадаю в непростительный грех гордыни, предлагая миру третий том моей автобиографии. Может быть, здесь, в этих дебрях слов, я и *отыщу* мою жизнь – отыскать ее вне дутого предприятия, которое именуют писательством, мне пока что не удалось. Я, клавиатура, мышь, экран – и ничего больше. Ну еще перерывы на черный кофе, посещения уборной да время от времени твиттера и электронной почты. Я могу заниматься этим часами и в полном одиночестве. В таком, что, если мне все же приходится снимать телефонную трубку, голос мой нередко оказывается хриплым, каркающим, поскольку я много дней ни с единой живой душой не разговаривал.

Ну-с, и куда ж нам отсюда плыть?

Давайте посмотрим.

Повторение пройденного

Мне часто снится один и тот же сон. В три часа ночи кто-то звонит в мою дверь. Я вылезаю из постели, нажимаю на кнопку переговорного устройства.

– Полиция, сэр. Можно войти?

– Конечно, конечно.

Нажимаю на другую кнопку, впускаю их в дом. Полицейские пропевают, словно псалмы, обвинения, разобрать которые мне не удастся. Арестовывают меня, надевают наручники. Все проделывается вдруг, очень быстро и добродушно. Один из полицейских просит разрешения сфотографироваться со мной.

Сны монтируются как фильмы, и следующий эпизод разворачивается уже в зале суда, где судья, куда менее благожелательный, приговаривает меня к шести месяцам заключения и каторжным работам. Судья исполнен отвращения ко мне, человеку, который должен бы понимать, что к чему, но совершил столь глупое преступление и подал столь срамной пример впечатлительным молодым людям, невесть по какой причине питающим ко мне уважение. Судья желал бы приговорить меня к сроку более долгому, но вынужден руководствоваться буквой закона.

Слышатся возгласы одобрения и насмешки, меня отводят в обезьянник, затем сажают в фургон, восхитительно изукрашенный и на редкость богато снабженный хрустальными бокалами, ведерками со льдом и бутылками поразительно разнообразного спиртного.

– Надрызгайтесь от души, Стивен. Теперь вам не скоро выпить удастся.

Я в тюрьме. Все заключенные высыпали из камер, чтобы встретить меня. Приветственные клики их оглушительны и ни малейшей угрозы не содержат.

Огромная столовая... Я усаживаюсь за стол – на колоссальном общем плане, точно Коди Джаррет, сыгранный Джеймсом Кэгни в фильме «До белого каления»^[2]. Затем план поясной: некто спокойный и невозмутимый, как лишенный возраста Энди Дюфрейн^[3] Тима Роббинса, снимает мой поднос со стола.

Ясно, что в кутузку я попал не за какое-то пугающее сексуальное или финансовое преступление, потому что в таком случае мои товарищи по заключению избивали бы меня и мучили. Я совершил нечто дурное, осуждаемое «обществом», однако прочих преступников и даже полицейских забавляющее.

Газет мне никто не показывает. Говорят, что они меня только расстроят. Все очень странно.

Меня навещают друзья. Они всегда сидят по другую сторону решетки. Хью и Джо Лори. Ким Харрис, мой первый возлюбленный. Мой литературный агент Энтони и театральный – Кристиан. Моя сестра и ЛА Джо. Все они что-то недоговаривают, однако мне уютно в тюрьме и я сострадаю им, вынужденным покинуть ее и возвращаться в мир суматохи и бизнеса.

Я драю в коридорах полы электрическим полотером. У него два вращающихся диска со впрессованными в них мягкими шлифовальными подушечками, мне нравится держать его, будто отбойный молоток, ощущать его мощь, нравится, что я способен не позволить ему, тянущему меня вперед, точно ретивая собака на поводке, вырваться из моих рук и отправиться в свободный полет. Полы обретают глянцеви́тый блеск. Вот это жизнь.

Ко мне подходит, покашливая, старый зек, тугая самокрутка, когда он заговаривает со мной, покачивается в его губах вверх-вниз. Старик видел письмо в офисе начальника тюрьмы, где он ежедневно наводит порядок и чистоту. Мне намерены увеличить срок. Я никогда не выйду отсюда.

Я принимаю новость достойно. Очень достойно.

А затем просыпаюсь, или же сновидение сходит на нет, или переливается в нечто странное, глупое и совсем другое.

Ну что же, теперь можно без помех заняться истолкованием этого сна. Моя настоящая жизнь – тюрьма, и потому реальное узилище стало бы для меня избавлением. Такова выжимка, как выражаются в Голливуде. Я – один из тех, кто, подобно столь многим британцам определенного сословия и времени, рожден, чтобы следовать установленному порядку вещей. Школы сменяются оксбриджскими колледжами, а те сменяются, если так можно выразиться, Судебными иннами, или Би-би-си, или армейскими полками, или линейными кораблями, или одной из двух палат парламента, или «Олбани»¹, или клубами Пэлл-Мэлл либо «Сент-Джеймсом». Это мир очень мужской, очень англосаксонский (время от времени в него допускают, поскольку расовые предрассудки вульгарны, одного-другого еврея), очень уютный, абсурдный и устарелый. Если вам хочется увидеть его последний парад, состоявшийся как раз перед моим появлением на свет, прочтите первые восемь-девять глав «Лунного гонщика» из бондианы, но имейте с самого начала в виду, что мир этот одновременно потешен, фантастически осмотрителен, бессмысленно амбициозен и завлекателен до того, что мурашки по коже.

Во второй моей мемуарной книге, «Хроники Фрая», да и в первой, «Моав – умывальная чаша моя»¹, я отмечал, что вечно был обуян манией прилепиться к чему-либо, принадлежать, участвовать. Половина моей личности, писал я в «Моав», стремится стать частью племени, другая – держаться от племени подальше. Все клубы, в каких я состою, – шесть так называемых джентльменских и бог знает сколько еще журналистских распивочных в стиле Сохо – суть яркие свидетельства того, что душа моя ищет себе место в британском обществе. Быть может, для таких, как я, тюрьма – клуб самый лучший.

«Так уж оно устроено», – говорит в «Побеге из Шоушенка», любимом во всем мире, Ред, которого сыграл Морган Фримен.

Интерпретаций я остерегаюсь. Интерпретировать мою жизнь и ее мотивы отказываюсь, поскольку не пригоден для этого. Займитесь этим сами. Сочтите меня и мою историю отталкивающей, чарующей, отражающей давно ушедшую эпоху, типичной для поколения, время которого истекло. И обо мне, и о моей жизни можно сказать все что угодно.

Если хотите нагнать на людей тоску, расскажите им ваши сны. Похоже, я неправильно начал. Прошу прощения, однако уверять, что эти мемуары в чем-то экспериментальны, не стану, а лишь попрошу вас приготовиться к скачкам во времени – то вперед, то назад. Опыт письменного рассказа о том периоде моей жизни чем-то походит на сон – неожиданный, прихотливый, отталкивающий, пугающий, невероятный, кристально ясный и одновременно до ужаса затуманенный. Дело мое – весьма, впрочем, далекое, как я полагаю, от Божественной комедии – состоит в том, чтобы стать Вергилием ваших Данте и провести вас так прямо и мягко, как мне удастся, по кругам моего личного ада, чистилища и рая. На следующих страницах я постараюсь быть настолько правдивым, насколько смогу, а интерпретации и поиски, в общих чертах говоря, мотивов предоставлю вам.

¹ Предыдущие части автобиографии Стивена Фрая выходили в «Фантом Пресс» – также в переводе Сергея Ильина.

Весьма нескладно, но... в правильном духе

[5]

Помимо прочего, существует и такая проблема: приступая к рассказу, я вынужден полагать, что вам известна предыдущая часть моего прошлого.

Берти Вустер, герой и рассказчик историй П. Г. Вудхауза о Дживсе, в начале каждой новой книги обычно говорит читателю что-то вроде: «Если вы – один из верных старых друзей, знакомых с событиями моей прежней жизни, которые описаны в книгах “Моав – умывальная чаша моя” и “Хроники Фрая”, вам сейчас самое время заняться домашними делами – пойти погулять, помыть кошку, попробовать разгрести завалы электронной почты и тому подобное, – а я пока расскажу новичкам, что было раньше...» – хотя, конечно, называет он не «Моав» и «Хроники», а, скажем, «Фамильную честь Вустеров» или «Ваша взяла, Дживс». Весьма сомнительно также, что он поминает электронную почту. Впрочем, общий смысл вы поняли.

Существуют отдаленные шансы, что вы уже натыкались на двух предшественников мемуара, который держите сейчас в руках, – в этом случае я представляю себе, как вы начинаете нетерпеливо постукивать ступней, когда я норовлю провести непосвященных по старому, уже пройденному вами пути. «Да-да, мы все это знаем, кончай волынку тянуть». Я едва ли не слышу, как вы бормочете в дальней дали: «Нам бы чего-нибудь свеженького. Смачненького. Скандального. Про шоу-бизнес. Наркотики. Самоубийства. Сплетни какие-нибудь».

Время от времени я сталкиваюсь в суете потягивающих вино гостей, всегда предваряющей званые, к примеру, обеды, с людьми, которые рассказывают мне, какое великое удовольствие доставила им та или иная моя книга. Это чудесно и мило, но немного конфузит. «Просто не знаю, что и сказать», как говаривала альтер-эго Агаты Кристи популярная писательница Ариадна Оливер (столь великолепно сыгранная Зои Уонамейкер в телевизионных экранизациях). Так или иначе, через час с чем-нибудь я, разогретый несколькими бокалами вина, могу начать рассказывать, что случается за обеденным столом довольно часто, какую-нибудь историю. И вижу, как те самые люди, которые признавались в любви к моим книгам, покатываются со смеху и удивленно ахают, когда я добираюсь до кульминации моего рассказа. И, пока они утирают слезы самозабвенного веселья, я думаю: «*Минуточку! Именно эта история описана, слово в слово, в книге, которая им, как они только что говорили, так нравится!*» Стало быть, они либо вруны и книгу вообще не читали, чем, сказать по правде, отличаемся все мы, – жить, *не* читая книг, особенно книг твоих знакомых, намного легче, – либо, что на самом деле еще вероятнее, книгу-то они *прочитали*, но попросту забыли все в ней сказанное.

Что остается у стареющего человека от книги, которую он прочитал, как не запах, вкус, скоротечный парад смыслов и персонажей, приятных или не очень? Со временем я научился не обижаться. Никто из писателей не ждет, что каждое его слово навеки запечатлится в памяти читателя.

Такого рода худая память – отнюдь не проклятие, скорее благословение. Все мы, как читатели, становимся немного схожими с персонажем Га я Пирса из фильма «Помни», только без сопутствующих ему физических опасностей. Что ни день, то приключение. Каждое перечитывание как новое чтение. По крайней мере, это верно в отношении книг, прочитанных недавно. Я могу почти дословно пересказать «Шерлока Холмса», Вудхауза, Уайльда и Во, которых безумно любил в детстве (не говоря уж о Бигглзе, Энид Блайтон и Джорджетт Хейер^[6]), но не просите меня изложить сюжет последнего прочитанного мной романа. А роман-то был хороший – «Вопрос Финклера» Говарда Джейкобсона, отмеченный Буке-

ровской премией. Прочитать его мне следовало, когда он только вышел, года два или три назад, но, вообще говоря, от современной литературы я безнадежно отстал. Практически все, что я ныне читаю, – это биографии, книги по истории или научно-популярные. Я отложил «Вопрос Финклера», прочел его от корки до корки около трех месяцев назад и получил огромное удовольствие. Помню, я много смеялся, помню, что там был уличный грабитель (расист?), помню очень толковые, убедительные рассуждения об антисемитизме, и вообще это прекрасная, поразительно умная проза. Однако, оставляя в стороне фамилию Финклер и то уличное нападение, я, честно говоря, могу сказать о книге только одно: она мне понравилась. Я вышел из того возраста, когда сюжетные ходы, разговоры и даже отдельные фразы застревают в памяти.

От тротуара к квартире Ватсона и Холмса в доме 221Б по Бейкер-стрит ведут семнадцать ступенек, Нантский эдикт был отменен в 1685 году, а битва при Креси состоялась 26 августа 1346 года (запомнить дату мне не составило труда, поскольку это день рождения моего отца). Я могу, не заглядывая в Википедию, осыпать вас бесполезными сведениями *какого угодно* рода. Точные фразы Холмса, Дживса, мистера Микобера^[7] и Джимлета (десантника-диверсанта, составляющего пару Бигглзу) так и плещутся в моей памяти – в особенности обыкновение рядового из Французской Канады «Траппера» Трабли шипеть «*sapristi!*»² всякий раз, как его будят^[8].

Собственно говоря, я все еще храню дома большинство произведений капитана У. Э. Джонса, создателя Бигглза и Джимлета (и их женского эквивалента, сердечной и героичной «Уоролс из ЖВС³»). Симпатичным строем (по крайней мере, у меня на полке, если не в порядке публикации) стоят «Джимлет приходит на помощь», «Джимлет скучает» и «Джимлет проводит зачистку». Всего один скрытый выпад против гомосексуализма – зато какой! Даже «Монти Пайтону» не удалось его превзойти, хотя, читая пародию «Бигглз расстегивает брюки» в одной из книг «Пайтонов», я хохотал так, что дело кончилось сильным приступом астмы. Честное слово. Сам факт, что они явно читали первоисточник, обращая, как и я, особое внимание на стиль и манеру, заставлял меня валиться на спину, упоенно месить ногами воздух и сипеть, словно умирающий эмфиземик. Наверное, я хочу сказать всем этим, что через год примерно перечитаю книгу Говарда Джейкобсона и она станет для меня новым сюрпризом.

Один из моих друзей заметил недавно: как нелепо, что люди столь редко перечитывают книги, – ведь не слушаем же мы любимую музыку всего по одному разу. Ну ладно, умолкни. Ты меня отвлекаешь. Весь смысл этого начального раздела состоял в том, чтобы подвести неосведомленных читателей к теме «*La Vie Friesque*»⁴. И если вы добрались до этого места и читали также предыдущие мои покушения на автобиографию, то уже предупреждены: вас ждут повторы, а то и противоречия. То, что я помню сейчас, может отличаться от того, что я помнил десять лет назад. Однако, если вы считаете, что знакомы с историей моей жизни, какой та предстала к концу «Хроник Фрая», и снова читать ее сжатое изложение вам ни к чему, можете спокойно перескочить от одной черной стрелы к другой или просто захлопнуть книгу и заняться мелкими хозяйственными делами – ну, скажем, развернуть телевизор, который почему-то стоит так, что экран его хорошо виден всем вашим домашним, но только не вам. А я тем временем попробую как можно проворнее пересказать существенные обстоятельства ранней моей жизни.

У вас, мог бы добавить я, всегда остается возможность вот прямо сейчас отложить эту книгу, скачать электронные версии или купить бумажные «Моав – умывальная чаша

² Черт возьми! (*фр.*).

³ Женская вспомогательная служба (ВВС).

⁴ «Жизнь Фрайская» и «фреска жизни» разом (*искаж. фр.*).

моя» и «Хроники Фрая» и запоем прочитать их в названном порядке, избавив нас обоих от любых повторов, но мне не хочется показаться вам корыстолюбивым писакой, норовящим увеличить продажи своих сочинений. Мы все стоим выше отталкивающего меркантилизма подобного рода.

→

Итак, с чего начать мне пересказ моей истории? С какого места? Отколе? Алистер Куки, британский журналист, более всего известный радиопередачами из Америки, которые он делал для Би-би-си, как-то рассказал мне, что, печатаясь молодым еще человеком в «Манчестер Гардиан» легендарного Ч. П. Скотта, однажды представил ему статью, в которой присутствовало слово «отколе».

– Скажи-ка мне, паренек, – попросил Скотт, пристукнув двумя пальцами по этому оскорбительному слову, – что бы такое значило твое «отколе»?

– Э-э... «откуда»?

– Точно! Ты бы еще «откудова» написал. Иди поправь.

Куки хватало глупости настоять на своем:

– И Шекспир, и Филдинг часто использовали слово «отколе».

– Ну, если б они писали для «Манчестер», мать ее, «Гардиан», так не использовали бы, – ответил Скотт.

Итак. Позвольте мне, пока другие предаются хлопотам по хозяйству, начать пересказ для новоприбывших читателей. Другие смогут подключиться к нам, когда я его завершу. Начать оттуда, стало быть. Мне больше нравится «оттоле», но ничего не напишешь. Скотт, надо полагать, знал, о чем говорит.

Изгнанный из многих школ, наш герой (я о себе, не об Алистере Куки или Ч. П. Скотте, – пытаюсь написать абзац в манере Кристофера Ишервуда/Салмана Рушди, рассказывая о себе в третьем лице, но это не затянется, обещаю), пережив отрочество, замаранное безрассудствами, страданиями, глупой и душераздирающей влюбленностью, бессмысленными самообольщениями – впрочем, скоротечными – и тьмой позорных поступков, лукавый, дерзкий, коварный и бог весть что воображавший о себе дурачок, угодил в тюрьму за мошенничество с кредитными картами и – будучи еще подростком – оказался на пороге жизни, в которой его ожидали крах, тюремная отсидка, изгнание из семьи и жалкое бесчестье. Сумев каким-то образом увернуться от всего перечисленного, он завершил школьное образование и получил стипендию Кембриджского университета. Ну, не так чтобы «сумел увернуться», но скорее прорвался благодаря чудесам, которые творили его безупречно милосердные родители, и собственному запоздалому открытию, что ему очень и очень нравится учиться, а перспектива остаться без настоящего образования для него непереносима, в особенности без образования, полученного среди каменных плит, башен и дворишков Кембриджа, в котором его герои, наподобие Э. М. Форстера, Бертрана Рассела, Дж. Э. Мура, Людвиг Витгенштейна, Альфреда Теннисона и Уильяма Вордсворта, предавались глупым забавам, суровым трудам, восторженному товариществу, чувствительной дружбе и лишь наполовину серьезному *sacra conversazione*⁵ и читали на ковриках перед каминами основательные, величаво интеллектуальные местные издания, жуя гренки с анчоусами и сардинами и беседуя с университетскими донами, вербовавшими агентуру для МИ6 и КГБ.

То обстоятельство, что Джонатан Миллер и Питер Кук из «По ту сторону Фринджа», Джон Клиз, Грэхем Чепмен и Эрик Айдл из «Монти Пайтона» и Тим Брук-Тейлор с Биллом

⁵ Священное собеседование (*лат.*).

Одди из «Леденцов», не говоря уж о Жермен Грир, Клайве Джеймсе, Дугласе Адамсе, Дерекке Джекоби, Изне Маккеллене, Питере Холле, Ричарде Айре, Николасе Хайтнере^[9] и прочих, тоже имели некоторое отношение к этому университету, было для меня стимулом менее осознанным, хотя, если говорить начистоту, полагаю, что какая-то малая часть моей персоны мечтала о славе и признании, пусть и в неясной пока форме.

Невозможно, думаю я, только-только подрастая, сознавать, что ты – великий актер, даже если ты Станиславский, Брандо или Оливье. И еще в меньшей степени взрослеющий человек уверен, что сумеет сделать хоть какую-то карьеру на сцене или на экране. Всем же известно, что там «не протолкнуться». Думаю, каждый сознавал в те дни принципы, изложенные Малколмом Гладуэллом^[10] в книге «Исключения. История успеха», где тот вполне убедительно доказывает, что никто не смог бы преуспеть без 10 000 часов практических занятий. Никто – ни Моцарт, ни Диккенс, ни Билл Гейтс, ни «Битлз». А мы в большинстве своем тратим 10 000 часов на мечтания, и, что касается актерской игры, могу сказать точно: я много думал, что не прочь попробовать в ней свои силы, но дальше этих дум не шел. Полагаю, это первая из моих рецензий – «Миссис Хиггинс юного Стивена Фрая украсила бы любую гостиную Белгравии» – ударила мне в голову в возрасте примерно одиннадцати лет.

«Оооох... – Воздух со свистом втягивается в грудь. – Девятьсот девяносто девять безработных актеров на одного устроенного, молодой человек». Как часто в молодости я слышал на попойках эти слова, неизменно сопровождавшиеся честнейшим взглядом, тонкий смысл коего заключался в том, что с моей-то физиономией и жердевидной фигурой мне и мечтать о первых ролях нечего, а лучше бы подумать о какой-то другой деятельности.

«Барристер ведь тоже немножко актер» – такой утешительной, обнадеживающей мантрой обзавелась моя лучезарная мама. Какое-то время я был с ней согласен и в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет заверял норфолкских землевладельцев и их жен (когда мы бывали у них в гостях), что полон решимости податься в юристы. Книга Нормана Биркетта «Шесть великих адвокатов» стала моей постоянной спутницей. Со свойственным мне отгаликивающим апломбом одинокого зубрилы я изводил родных рассказами о величавых судебных триумфах Маршалла Холла (первого моего героя) и Руфуса Айзекса, великой ролевой модели любого еврейского мальчишки, поскольку этот человек возвысился до звания маркиза Рединга и должности вице-короля Индии. Начав с плодового базара в Спитфилдзе, он кончил тем, что ему делали реверансы и кланялись, величая его Вашим Высочеством, в вице-королевском дворце Нью-Дели. Представьте! А ведь он в отличие от Дизраэли всегда оставался *практикующим* евреем. Не то чтобы таким был и я или кто-то из ближайшей родни моей матери. Мы были, по бессмертному выражению Джонатана Миллера, не евреями, а просто евреистыми типчиками. Далеко не беззаветными. Но ведь, как показали нацисты, ты вовсе не обязан практиковать (даже всего лишь 10 000 часов) еврейскую веру, тебя и без этого будут бить, ссыловать, мучить, обращать в раба или убивать за нее, и потому ты вправе носить звание еврея с гордостью. Обряды, генитальные увечья, отказ от устриц и ветчины – пусть они идут куда подальше, как и любое наугад взятое правительство Израиля; в остальном можете считать меня горделивым евреем.

При взгляде из двадцать первого века мое произрастание и формирование в сельском Норфолке кажутся причудливым реликтом. Думаю, весь наш образ жизни даже тогда выглядел устарелым. Рыботорговец, который приезжал по средам в тележке, влекомой цокающей копытами лошадью, грузовики с углем, фургончики мясника, бакалейщика и пекаря, доставлявшие тот фураж, какого садовники не могли принести к задней двери нашего дома и вручить стряпухе, чья невестка три раза в неделю мыла, ползая на коленях, полы. Ни тебе центрального отопления, ни водопровода, только уголь и дрова в очагах и печах да викторианская насосная станция, качавшая воду, одним из источников коей была цистерна, наполнявшаяся ласковыми дождями и снабжавшая все ванны и умывальники мягкой, но ржаво-

буровой жидкостью, а другим – подземный водоносный пласт, питавший питьевой водой единственный в доме кран, низко торчавший над деревянной бадейкой из стены в огромной викторианской кухне, которую согревала лишь пожирившая кокс плита «Ага». У нас имелась сервизная буфетная, кладовка продуктовая, просто кладовки, моечные и наружная моечная с огромной раковиной, наполнить которую можно было лишь с помощью большого медного насоса, вручную. Снаружи сервизной буфетной, рядом с дверью на лестницу в погреб, висел длинный шнур, тянувшийся к пузатому красно-бело-синему колоколу. Если кто-то из нас, детей, застревал в саду, а мы требовались в доме, взрослые дергали за шнур. Лязганье колокола различалось за полмили, на местной свиноферме, где я любил проводить порой время, любовно созерцая поросят. Стоило мне услышать его, желудок мой всякий раз словно наполнялся свинцом, потому что, если не близилось время ленча или обеда, лязганье это почти неизменно означало Неприятности. Колокол вызванивал новость о том, что меня в чем-то Уличили и ждут, когда я замру на ковре перед письменным столом отцовского кабинета и Объясню Мой Поступок.

Возвращаемся в дом: на стене рядом с колоколом висела вполне предсказуемая панель со звонками, уведомлявшая слуг минувшей эпохи о том, в какую комнату им надлежит поспешить, чтобы согнуться в поклоне и получить, целиком обратясь в слух, приказания. Наша панель не походила на те, что знакомы всем по нынешним телесериалам и фильмам о загородных домах, – с колокольчиками, от каждого из которых тянется в свою комнату дома проволочка, – наша висела на стене передового для своего времени викторианского дома и выглядела как деревянный ящик. На крышке его были напечатаны названия комнат, и над каждым красовалась красная звездочка в белом кружке, начинавшем мелко подрагивать, когда в соответственной комнате нажималась кнопка электрического звонка. Говорили, что дом моих родителей был одним из первых в этом уголке Норфолка особняком «с электрическим приводом». Уверен, проводка его ни разу не менялась со времени постройки дома в 1880#х и до того дня (наступившего почти полтора столетия спустя), когда отец наконец-то продал его. В 1960#х я был еще мальчиком, а керамическим коробкам предохранителей и массивным двойным и тройным электрическим вилкам из бакелита и меди насчитывалось лет восемьдесят, самое малое, и слепящие своей белизной тройные вилки, которые я видел в домах друзей, неизменно поражали меня, и точно так же поражали, вызывая отнюдь не преходящую зависть, ковровые покрытия от стены до стены, цветные телевизоры и теплые батареи отопления, воспринимавшиеся друзьями как нечто само собой разумеющееся. Я уж не говорю о легкости, с которой они добирались до кинотеатров, магазинов и кофеен. Заурядные, современные дома друзей не могли, конечно, похвастаться шпалерными сливовыми и грушевыми деревьями, росшими вдоль фронтонов наших надворных построек, равно как и стенными шкафами с деревянными филенками, на которых вручную были вырезаны «льняные складки», – у нынешнего антиквара от одного взгляда на них приключился бы оргазм, – но моему безутешному деревенскому взору дома эти представлялись столь же *волнующими*, сколь *тусклыми* были и жизнь моя, и мой дом.

Пройдемте, как выразился бы агент по недвижимости, от кладовок и двери в погреб, мимо звонковой панели и колокольного шнура к неизменно закрытой, обитой сукном двери, что ведет в собственно дом. Там вы увидите коридоры, столовую, гостиную, большую парадную лестницу и кабинет моего отца. Вход воспрещен. Рядом с суконной дверью уходила наверх *черная* лестница, ведущая в наши владения.

Мы с братом занимали две огромные спальни на третьем этаже, все прочие верхние комнаты (одна из которых уже была разделена на две) отводились для гостей и лишней мебели или просто использовались как чердачное пространство. Эти несурзных пропорций помещения, в одном из которых еще уцелело немного обоев Уильяма Морриса, были изначально задуманы как спальни для слуг. Построивший дом архитектор Уитвелл Элвин

совершил перед тем ошибку, возводя в нашей деревне дом приходского священника, – комнаты для прислуги оказались там слишком маленькими. По-видимому, слуги, жившие в этих узких комнатках, остро переживали одиночество и тоску по дому, и потому Элвин, получив возможность соорудить еще один дом, создал в нем для слуг огромные покои, в которых горничные и лакеи (занимавшие, разумеется, безжалостно изолированные спальни) могли по ночам беседовать и утешать друг дружку.

Лучшим архитектурным творением Элвина стал не наш дом и не дом приходского священника, а деревенская церковь. Чтобы увидеть Бутонскую церковь, стоит проехать многие *мили*. «Деревенский кафедральный собор» – так ее именовали. Названием этой главы я обязан сэру Николасу Певзнеру, великому архивариусу британской архитектуры, объездившему все наши графства и описавшему каждое достойное того здание Соединенного Королевства. «Весьма несложен, но выстроен в правильном духе» – так отозвался он о бутонском соборе Св. Михаила Архангела^[11]. Помню, я процитировал этот отзыв Певзнера Джону Бетчману^[12], который во время моих школьных каникул или сельской ссылки (временного исключения из школы) приехал к нашей церкви со съемочной группой и кем-то из друзей по «Викторианскому обществу». Мне, самозваному специалисту по местным достопримечательностям, поручили исполнение волнующей миссии – сопровождать компанию выдающихся визитеров, рассказывая им о батском известняке, битом камне, украшенных листовым орнаментом шпицах, фасках, своеобразных готических влияниях и прочей претенциозной чуши, какая только посетит мою голову (забитую в то время жаргонными словечками достойного Бэнистера Флетчера^[13]): «отметьте влияние клюнийского стиля» и прочий словесный понос того же рода, как будто они и сами не знали все это без писклявого нахала двенадцати лет, который вел себя, как профессор архитектуры из Института искусства Курто^[14]. Великий поэт-лауреат (или это звание в ту пору только ожидало его?) был очень дружелюбен и терпелив, а я лишь годы спустя узнал, что отношения Бетчмана и Певзнера были отнюдь не самыми сердечными, несмотря на то, что каждый так ценил британскую архитектуру, да, в сущности, и повысил ее ценность; возможно, цитировать сэра Николаса мне не стоило. Помнится, остаток того дня я провел, как гость устрашающе сведущей, милейшей Гермiony Хобхауз из «Викторианского общества», объезжавшей страну в поисках неизвестных мини-шедевров Пьюджина и Джилльберта Скотта^[15].

Уитвелл Элвин, может быть, и создал изумительный собор, однако основными его интересами (вне, надо полагать, исполнения обязанностей бутонского священника в течение пятидесяти одного года) были редактирование «Куотерли Ревю», ворчливая переписка со своими великими викторианскими современниками наподобие Дарвина и Гладстона и отчасти «неподобающие» отношения с молодыми женщинами, самой приметной из которых была его «благословенная девушка» леди Эмили Бульвер-Литтон, дочь вице-короля, впоследствии вышедшая за воистину великого архитектора Эдвина Лаченса, более всего известного созданием колониального Нью-Дели и сотрудничеством с садоводом Гертрудой Джекилл^[16]. Лаченс спроектировал также Бутонскую усадьбу, «среднего изящества» образец его творчества. Возведя собор в Бутоне (из зависти, можно предположить, к превосходшему его талантом Лаченсу и ревности к нему же, умыкнувшему возлюбленную Эмили) и дом приходского священника при нем, Уитвелл Элвин построил наш дом – в знак благодарности к двум засидевшимся в девицах сестрам, которые финансировали его величавое пасторское безрассудство.

Просто для того, чтобы показать вам нелепую старомодность нашего жилища, скажу следующее: уборными нам служили клетушки с бачками под самым потолком. Обязанности появившихся позже изукрашенных фаянсовых цепочек с надписью «тяни» изначально исполняли торчавшие рядом с унитазами рычажки, которые полагалось поворачивать, чтобы добиться слива, *вверх*. У раковин в комнатках перед уборными сливных отверстий не было.

Вы наполняли раковину водой, подергивая за подпружиненный кран, умывались или ополаскивали руки, а затем приподнимали ее бортик, на котором имелась щель стока, защищавшая раковину от переполнения, – вода выливалась, а бортик сам собой возвращался на место. Представить себе эту конструкцию вам, наверное, трудно, а мне не хватает умения описать ее кратко и ясно. Ну и ладно. Вот еще: у ванны, стоявшей на больших львиных лапах, имелся длинный керамический рычаг, который следовало, чтобы закупорить сливное отверстие, повернуть и опустить. Ванная комната – одна из немногих, известных мне, – была оборудована собственным камином.

Мы с братом были единственными обитателями дома, которым дозволялось, когда мы болели, растапливать камин в наших спальнях. Невозможно преувеличить удовольствие, которое я испытывал, когда просыпался темным зимним утром и видел еще тлевшие на решетке угли. В остальных случаях согреться зимой можно было, лишь навалив на себя гору тонких шерстяных одеял или заманив в постель кошку-другую. Об одеялах пуховых либо стеганых я и слыхом тогда не слыхивал.

Как-то раз я нашел на чердаке электрический обогреватель «Димплекс» и притащил его в мою комнату. Обнаружив, что я уж три дня держу его включенным на полную мощность (что не мешало пару по-прежнему валить из моего рта и носа), отец заставил меня сесть за стол и подсчитать, исходя из стоимости киловатт-часа, во что обошлось ему мое расточительство. Разумеется, решение этой арифметической задачи лежало далеко за пределами моей компетентности. Обогреватель исчез, а мой страх перед математикой значительно усугубился.

За стенами дома садовники производили то, чем не могли снабдить нас во время их еженедельных визитов бакалейщик, мясник, пекарь и рыбный торговец. Яблоки, груши и картофель запасались на зиму в надворных постройках; джемы, солености и вареные чатни готовились по осени нашей кухаркой миссис Райзборо. Салат-латук, помидоры, огурцы, красные турецкие бобы, бобы зеленые, горох, кабачки, спаржа, инжир, тернослива, сливы, вишни, ренклоды, клубника, ревень, малина, черная смородина и прочие щедрые дары сада и огорода питали нас всех. Молоко привозили ежедневно в вощенных коробках, которые мы высушивали и использовали в качестве каминной растопки; местные фермеры поставляли нам яйца и темно-желтое сливочное масло, приглаженное резными деревянными лопаточками и завернутое в жиронепроницаемую бумагу. Я ничего не слышал о супермаркетах и не бывал ни в одном, пока мне не стукнуло... даже и догадаться не могу, сколько лет. Если нам требовалась ежевика для пирогов, которые пекла миссис Райзборо (ежевично-яблочных), я усаживал в коляску мою маленькую сестру Джо, провозил ее по тропе для верховой езды и самолично собирал ягоды. В октябре готовилась смесь для рождественских пудингов и разливалось по чашам яблочное желе... уверен, множество людей проделывает то же самое и сейчас, – возможно, их даже больше стало благодаря разгулу конкурсов на лучший пирог или плюшку, которые занимают ныне немалую часть времени на всех телеканалах. Винному камню и засахаренному дуднику повезло в этом смысле меньше. По всей нашей стране мужчины и женщины все еще выращивают овощи, яблоки, груши, ягоду; надеюсь, моя детская идиллия не представится им слишком непонятной. Конечно, для меня детство и близко к идиллии не лежало, каким бы прекрасным оно ни может (и должно) казаться по прошествии столь долгого времени, после стольких перемен в обычаях и нравах.

В нашем распоряжении имелись травяной теннисный корт и бадминтонная лужайка, но по какой-то причине мы на них почти не бывали, разве что приходили туда с гостившими у нас американскими кузенами.

За конюшнями стоял коттедж с собственным огородом, там жила работавшая у отца супружеская чета, с коттеджем соседствовал полный крикливых гусей загон. Я часто сгонял этих агрессивно шипевших птиц к стволу грецкого ореха, вокруг которого они гага-

кали и хлопали крыльями, как будто он был священным храмом, который вот-вот осквернят и разрушат язычники. Я хоть и вырос в деревне, но отношения с животными у меня никогда не складывались.

В заросшем чем попало старом хлеву и на обнесенном зеленой изгородью земельном участке, полном сломанных солнечных часов и засоренных прудков, мы с моей сестрой Джо находили, приручали и наконец притаскивали в дом одичавших кошек с котятками, которых выдворял из своего жилища почти невероятно эксцентричный священник деревенской церкви, – будучи человеком глубоко религиозным, он не мог, конечно, поверить, что у любого животного есть душа, и потому считал, что их можно выбрасывать в свое удовольствие на улицу, как мусор. Лошадей у нас не было, поскольку отец превратил стоявшие напротив дома монументальные конюшни в лабораторное здание. Он был конструктором, физиком, инженером-электронщиком – дать точное определение невозможно. Конюшенные кормушки наполнились инструментами, стойла – токарными и фрезерными станками и иной машинерией; в огромных помещениях наверху, где, наверное, спали когда-то грумы, поселились осциллографы, амперметры и электронные приборы самого удивительного и непостижимого рода. После десяти-двадцати лет его работы ароматы припоя, чистящего средства и фреона изгнали все же десятками лет стоявшие здесь запахи навоза, соломы и седельного мыла.

Рипхэм, ближайшая к нам деревня, в которой имелись настоящие магазины и пабы, находилась в трех милях от дома, и обитатели ее думали о моем отце – в тех редких случаях, когда он попадался им на глаза, – как о Сумасшедшем Изобретателе. Если ему по какой-то причине – мама, скажем, лежала в постели с гриппом – приходилось отправляться туда за табаком, он, совершенно как иностранный турист, вставал посреди почтовой конторы, потерянно протянув перед собой ладонь с деньгами и ожидая, когда из нее вынут нужное их количество. Думаю, он немного пугал деревенских жителей, а Вордсвортов мир «стяжаний и трат» пугал отца.

Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, как пугал он меня. Я видел в нем сплав мистера Мэрдстона с Шерлоком Холмсом – с легкой примесью дяди Квентина из «Великолепной пятерки»¹⁷¹. С последним его роднили зловеще мрачное лицо и нетерпимое до рыка отношение к неподобающему поведению детей, а с великим детективом – нечеловеческий блеск ума и худоба курильщика трубки. Сам Холмс заметил однажды, что гений – это бесконечная способность по части страданий, а я, какой бы благоговейный страх ни внушал мне отец, какие бы гнев и ненависть к нему меня ни обуревали, ни разу не усомнился в том, что он самый настоящий гений и есть. Да и сейчас не сомневаюсь. Не уверен, однако, что между семью и девятнадцатью годами мог встретить его взгляд или услышать его недозвольное фырканье, ворчание и вздохи без того, чтобы не ощутить острое желание обомочить штаны или унести прочь, рыдая от унижения и страдания. Сейчас, на девятом десятке лет, он сооружает, начав с нуля, 3D-принтер собственной конструкции. И я, зная его достаточно хорошо, питаю полную уверенность, что, когда он закончит, мы получим самое надежное и элегантное устройство из всех присутствующих ныне на рынке.

Мама была и остается самым теплым и добрым человеком из всех, кого вы когда-либо знали. Однако любовь ее и чувство долга были и всегда будут обращены прежде всего к отцу. И *vice versa*⁶. Как тому и быть надлежит. Их брак всегда казался мне настолько идеальным, что я нередко гадал, не он ли сгубил мои шансы достичь отношений, хоть в чем-то столь же совершенных. Чушь, конечно, поскольку и брат мой, и сестра блаженно счастливы в своих браках. Дальше в этой книге мы еще доберемся, если у вас хватит терпения, до наиболее вяз-

⁶ Наоборот (лат.).

ких топей, наиболее зловонных и грязных болот моей бесполезной и отталкивающей личной жизни. Пока же нам еще предстоит покончить с повторением пройденного.

Одна из замечательных услуг, оказанных Дж. К. Роулинг всем английским писателям определенного поколения, состоит в том, что о проводах в школу детям можно больше не рассказывать. Разумеется, никакой Хогвартс-экспресс семилетнего Стивена не ожидал и ни сливочного пива, ни волшебных шоколадных лягушек он тоже не видел, но все остальное было, в общем и целом, очень похоже. В школьных вагонах немислимо взрослые на вид двенадцатилетки нахлобучивали на головы канотье или махали ими из окон, а мы напрягались, как мулы, и цеплялись за наших матерей, воображая близящиеся месяцы разлуки, которые нам предстоит провести в обществе этих устрашающих старших учеников. «Они решат, что я дурак». «Они решат, что я слабак». «Они решат, что я зауряден». Какие только волны незрелой несостоятельности не окатывали меня. Лишь два года спустя, читая незаменимую антологию Нэнси Митфорд^[18] «Положение обязывает», я узнал, что слово «заурядный» используется лишь «заурядными» людьми, – новость довольно удручающая.

До того как лет десять, что ли, назад Паддингтонский вокзал почистили, отмыли, обновили и украсили памятником его прославленному и благородному медведю, я и близко к нему не мог подойти без того, чтобы меня не хватил приступ медвежьей болезни.

Каждый, с кем мы знакомимся, – и это продолжается до конца жизни – сильнее нас, лучше знает систему, видит нас насквозь и находит увиденное решительно никуда не годным. Каждый, кого ты встречаешь, несет, так сказать, за спиной здоровенную дубину, а у тебя только и есть что ватная палочка. Думаю, я уже писал об этом когда-то или, может, спер у кого-нибудь, – в любом случае мое наблюдение вряд ли можно назвать свежим, и я сильно удивлюсь, если вы с ним не согласитесь. Весь остальной мир был на Том Уроке, который мы пропустили по причине зубной боли или приступа поноса, том, где *они* – все прочие ученики – узнали, как этот самый мир устроен, и с тех пор чувствуют себя в нем легко и уверенно. А вот *мы*, все мы, урок пропустили и с тех пор чувствуем себя беззащитными. Другим известен некий секрет, и никто из них не знает его лучше, чем дети, которые на несколько лет старше тебя.

В семь лет отправиться за двести миль от дома в приготовительную школу – это, как и тележка рыборотговца, как подвешенные в 1880#х колокольчики для прислуги, как стряпуха, что принимает овощи от почтительно снявших шляпы садовников, представляется безумно глупым, английским, величавым и устарелым.

А стало быть, вам следует понять, прежде чем я двинусь дальше, что вопреки всему мной уже сказанному мы были *бедны*. Не как церковные мыши, не бедны по-крестьянски, а просто бедны в сравнении с людьми самого разного рода, посылавшими своих детей в такие же школы, как моя, – бедны в сравнении с теми, чьи званые обеды посещались моими родителями. Да-да, званые обеды, куда мужчины являлись в галстуках-бабочках и где женщины «удалялись» после сыра из столовой в гостиную, дабы позволить мужчинам прибегать в разговоре к крепким выражениям, курить сигары и пить портвейн. Мама поделилась со мной своим верным, я полагаю, мнением, что этот давний и ныне отмерший ритуал (отмерший, могу вам сказать, даже в королевских дворцах – но о них несколько позже) на самом деле позволял женщинам посещать уборные, не привлекая внимание мужчин к тому обстоятельству, что эти сладостные создания носят в себе такие штуки, как мочевой пузырь, который им – подобно любому мужчине и любой лошади – необходимо опорожнять.

Мы были бедны в том смысле, что мама водила древний «Остин А35» с пощелкивавшими индикаторами, а отец – «Остин 1800», произведенный в пору расцвета британской некомпетентности во всем, что касалось двигателей (а перед ним заездил до полной непо-

требимости «Ровер 90»). Мы никогда не ездили в отпуск, а всякий раз, как в пору моего детства и отрочества мы с мамой отправлялись в обувной или одежный магазин, я, помнится, ежился и корчился от смущения, когда она объясняла (слишком громко, на мой слух), что та или эта пара обуви «разорительно дорога», а эти брюки ей «вряд ли по карману». Рос я, разумеется, быстро, а средств на покупки у нее было мало. Школьную учебу (каким-то образом мы с братом оказались в двух не так чтобы безумно великолепных, но тем не менее едва ли не самых дорогих частных школах Англии) оплачивал, я в этом уверен, мамин отец, милый моему сердцу еврейский иммигрант, который умер, когда мне было десять, и которого мне хотелось бы, очень хотелось бы узнать получше. И рос я с вполне иллюзорным – «необоснованным», сказали бы мы сейчас, – чувством горестной обездоленности. Признание это повергает меня в замешательство, ибо чего мне, спрашивается, не хватало? Какой надо быть дешевкой, чтобы считать сельский особняк с прислугой и огромными комнатами ужасным, а в современном доме с цветными телевизорами, газовыми плитами, морозильниками, ковровым покрытием и центральным отоплением видеть несбыточную мечту о роскоши?

Да, так вот. Я попал в глостерширскую приготовительную школу, далекую от Норфолка, но на свой манер очень красивую. Я уже описал в «Хрониках Фрая» мою ненасытимую жажду сладостей. Отдал страницы панегирикам, посвященным кондитерским магазинам, и исписал другие, бичуя себя за воровство и тайные махинации, до которых довела меня наркотическая зависимость от всего, что сладко, – полагаю, сама она была порождена черт знает откуда взявшимся чувством, что со мной обошлись несправедливо и плохо. Может быть, сахар был для меня заменителем родительской любви и домашнего процветания, коих я чувствовал себя лишенным. Возможно, я от рождения получил склонный к нарциссическим фантазиям разум. Наделенный им ребенок верит, что он на самом-то деле непризнанный сын какого-нибудь герцога или что в один прекрасный день ему пришлют из адвокатской конторы письмо, извещающее о баснословном завещании неведомого кузена, единственным наследником коего он стал. Коронные суды переполнены этими несчастными, уже успевшими, впрочем, вырасти. Я же оказался птицей редкой – более редкой, чем приличный человек в футболке с надписью «Холлистер»^[19], – фантазером, чьи фантазии, похоже, сбылись. Масса тех, кто ненавидит знаменитостей, сказали бы, что большинство из них – нарциссисты. Возможно, так оно и есть. Как ни странно, ненависть к себе – один из главных симптомов клинического нарциссизма. Только объяснив себе и миру, до чего ты себя ненавидишь, и можно получить в ответ бесперебойный поток похвал и преклонений, которых ты, по твоему разумению, заслуживаешь... по крайней мере, так уверяет теория.

Приготовительную школу я пережил – *едва-едва*. Школа «Стаутс-Хилл», обращенная ныне в курорт, была удивительной, построенной в середине восемнадцатого века замковой фантазией в стиле неоготики Строберри-Хилл, скрещенной с рококо (если вам по силам представить себе такую помесь) и укомплектованной подземельями, зубчатыми стенами, старшим слугой (мистером Дили) и совершенно причудливыми персонажами наподобие мистера Содона, у которого неуправляемо тряслись руки и которого мы до бесконечности передразнивали.

Только в последний мой школьный год один из учителей рассказал мне, что Содон был блестящим юношей и настоящим военным героем, чей разум повредила полученная в окопах Фландрии контузия, от которой он так и не оправился. Вспоминая сейчас, какое несчетное число раз я крался за ним, потряхивая дрожащими, как у него, руками, с отвисшей, как у него, челюстью, и бормотал какую-то чушь, и пускал, как он, слюну изо рта, и изображал его качливую, ныряющую походку, а он ничего об этом не знал, а встречные мальчишки, завидев меня за его спиной, раздражались визгливым смехом... думая об этом сейчас, я испытываю такой стыд, что готов проткнуть себе горло самопиской. И еще хуже становится мне от воспоминаний о том, как озарилось его лицо при виде смеющихся маль-

чиков. Он, полагаю, верил, что это проявления приязни и радости, и в сознании его начинал подрагивать далекий образ счастливой жизни, наполненной смехом и дружбой, жизни, какой она была до того, как дробящая кости, повреждающая разум война уничтожила все, чем он был. А ведь когда на глаза ему попадалось улыбающееся лицо, то примерно в 99 процентах случаев он видел перед собой вовсе не дружескую улыбку, хоть и не знал того, но издевательскую ухмылку юного изверга, который считал его нелепым, недоразвитым и ничего, кроме презрения, не заслуживающим. Все время, какое я там провел, его почти каждый день преднамеренно мучили, пародировали и жестоко дразнили. И что теперь толку в моих извинениях? Будь он все еще жив, ему исполнилось бы, я думаю, лет 120, и я плачу, пока пишу это. Плачу над моей бессердечной, невежественной, хвастливой порочностью, над сотнями, тысячами Содонов, у которых не было даже прибежища, не было стоявшей среди зеленых покатых холмов Глостершира школы, которая приютила бы их.

Мистер Содон был, по-моему, как-то связан через жену с основателем и директором школы Робертом Ангусом. Ангус произвел на свет трех дочерей, каждая из которых была более-менее помешана на лошадях, в особенности самая младшая, Джейн. Звездным выпускником школы стал Марк Филлипс, тогда уже готовившийся, как спортсмен-конник, к мексиканской Олимпиаде, а впоследствии женившийся на принцессе Анне. Искусство верховой езды было в «Стаутс-Хилл» не платным факультативом, как фехтование или игра на фаготе, но частью повседневного расписания. После сдвоенного урока латыни мы спустились в конюшни для столь же серьезного (и, на мой вкус, более скучного) урока, посвященного тайнам наездничества. Я и сейчас еще могу многое порассказать о седельных луках, мартингалах, трензелях, мундштуках, оберчеках, кимблукских и ливерпульских мундштучных удилах (и даже о такой штуке, как удила Чифни, не позволяющие лошади вставать на дыбы), о подпругах и скребницах, каждую мелкую деталь и должное использование коих мы должны были освоить, прежде чем нам дозволялось забраться хотя бы на пони. Запахи седельного мыла и жира для кожи, которые столь редко встречаются мне в нынешние времена, пробуждают во мне воспоминания с той же силой, что и ароматы креозота, гвоздики и сахарной ваты. Я считаю себя – пусть некоторые и полагают, будто я интеллектуал, рационалист и носитель почти ледяной логики, – человеком эмоциональным, чувствительным, ведомым по жизни скорее сердцем и прочими органами, чем мозгом. Обоняние, как все мы знаем, пробуждает память быстрее и надежнее, чем любое из остальных четырех чувств. И аромат седельного мыла уводит меня туда, куда *вас* может уводить запах ландышевого лосьона для рук, которым пользовалась ваша бабушка, или смрад пота и грязи в школьной спортивной раздевалке.

В 2009 году я поклялся (не прибегая, разумеется, к нехорошим словам, которые, впрочем, бормотал, выпадая из поля зрения камеры), что день, когда меня едва не сбросила понесшая теннессийская прогулочная лошадка, стал последним – больше меня никто и никогда, *никогда*, до самой моей смерти, верхом на лошади не увидит. Дело было во время съемок документального сериала, в котором я посещал каждый из штатов Американского союза.

Унижение, которое я претерпел при съемках заставки к фильму «Черная Гадюка рвется в бой», уже более-менее наполнило меня решимостью в седло отныне не садиться. Мы снимали ее в штаб-квартире Королевского английского полка в Колчестере, а идея состояла в том, что я, глупейший генерал Мелчетт, буду сидеть, принимая парад, на коне, между тем как ведомое капитаном Блэкэддером подразделение – в коем служат бедный старый рядовой Болдрик, благородный осел лейтенант Джордж (Хью Лори) и задерганный капитан Дарлинг (Тим МакИннерни) – проходит, равняясь направо, мимо меня под волнующий марш «Британские гренадеры», понемногу перетекающий в сочиненную Говардом Гудоллом музыкальную тему «Черной Гадюки». Практики ради я сунул ногу в стремя полковничьего коня, коего звали, сколько я помню, – и уже это должно было послужить мне предо-

стережением – Громобоем, взлетел в седло и поехал вперед, воркуя и пощелкивая языком на манер, который успокоил бы и наполнил дружелюбием даже тиранозавра, только что получившего из своего банка неприятную новость. Я проехался вдоль всего плац-парада, чувствуя себя относительно уверенно, повторяя имя Громобоя, поглаживая его морду, ласково похлопывая по крупу, уверяя голубчика, что он в полной безопасности, а я его люблю.

И вот мы с Громобоем мирно стоим, ожидая съемки. Камера, мотор и... музыка. При первом взреве труб Громобой встал на дыбы, заржал, точно баньши, помолотил копытами воздух и поскакал галопом по плац-параду – так, словно его слепень ужалил. Хью на помощь мне не пришел, потому как уже повалился на землю, содрогаясь от безудержного хохота – такого, что он и дышать-то почти не мог. Меня отделяли от сплошного бетона самое малое восемь с половиной футов, я отчаянно сражался за жизнь, а мой лучший друг полагал, что ничего смешнее в жизни не видел. Мужчины.

Ну-с, вам нетрудно будет представить, что двадцать лет спустя, в одном из южных штатов Америки, я забирался на теннессийскую прогулочную лошадку не без некоторой опаски. На том этапе съемок документального сериала о пятидесяти штатах Америки⁷ мы находились в Джорджии, гостили у очень добродушного семейства, которое жило в доме плантатора, не изменившемся, казалось, со дней Скарлетт О'Хара. И было ясно, что мой дискомфорт от лошадиного соседства передается и многим другим.

– Вы на ее счет не волнуйтесь, – успокаивала меня, выговаривая слова с чудесной медлительностью коренной южанки, милейшая хозяйка дома. – Еще не рождалась на свет лошадка настолько смиренная...

Последнее слово, *docile*, было произнесено на американский манер – так, точно оно рифмуется с *fossil*⁸ или с английским обозначением замечательно мелодичной птички, певчего дрозда – *throstle*. Прелестное слово, не правда ли? Однако вернемся к смиренной лошадке.

– Все это очень мило, – помнится, пропыхтел я, пытаюсь взгромоздить мою тушу на спину бедного животного, – однако мы с лошадьми никогда не ладили, а потому и я никогда не пытался сладить с лошадыю. Они знают, что не нравятся мне, и вечно впадают в панику.

Я только еще подходил к ней – тихо, благоразумно, неспешно, кудахтая, протягивая ей яблоко, тыкаясь носом в ее морду, – а зверюга уже прижала уши, волосья на боках ее встали дыбом, шкура задергалась, она забила копытами, словно учуяв во мне Сатану.

– Только не эта лапушка, – последовало благодушное мурлыканье.

Пять минут спустя – камера как раз успела запечатлеть мой позор – «прогулочная лошадка», спятив от ужаса, который внушал бедняге ее всадник, то есть я, а может быть (подобно любой долбаной лошади, когда-либо рождавшейся на долбаный свет), напрочь перепугавшись таких совершенно неожиданных и жутких явлений, как ветер, деревья, небо, плавно скользящая в вышине птичка, прогуливающаяся курица, забор, кружащий на ветру лист, бабочка – выбирайте сами, – пошла галопом и проломилась сквозь изгородь кораля, я же тем временем визжал и трясся в седле, бестолково пытаюсь нажать на тормоза.

– Ну, должна сказать, она себя *ни разу в жизни* так не вела...

Вы могли бы думать, что пригготовительная школа, стоящая посреди идиллической сельской местности с озером, лесом, купами деревьев и холмистыми угожьями, школа, в которой катание на терпеливых, покорных пони являлось обязательным для всех ее учеников, могла бы наделить меня обычной человеческой компетентностью по части верховой езды. Ей это не удалось, как не удалось наделить меня обычной человеческой компетентно-

⁷ Впоследствии С. Фрай напишет книгу «В Америке», которая вышла в переводе С. Ильина в издательстве «Фантом-Пресс».

⁸ Ископаемое, окаменелость (англ.).

стью по части жизни. Я не умею и никогда не умел ездить верхом и точно так же не умею и никогда не умел жить. Во всяком случае, никогда не чувствовал, что умею.

Итак (должен предупредить, я все еще обращаюсь к новеньким), я пережил шесть лет пригготовительной школы и на четырнадцатом году жизни перебрался в «Аппингем», старомодную частную школу славного графства Ратленд. Именно там на меня, противореча Филипу Ларкину, любовь свалилась, как огромное Нет^[20]. С тех пор бóльшая часть моей жизни была ответом на нее. Впрочем, на мое счастье, существовали еще и книги.

Я ненадолго вернусь в Бутон, к моим ранним годам, чтобы объяснить, как действовали на меня книги в пору, когда я добрался до Большой Школы. Любые цифровые выдумки доставляют мне наслаждение, однако страшно подумать, как мало я знал бы о писаном слове, если бы родился двадцатью пятью годами позже.

Я не настолько глуп, чтобы влиться в ряды глашатаев рока, возвещающих, что интернет и социальные сети – вестники скорой гибели грамотности, литературы, способности к сосредоточению и «подлинного» человеческого общения. Печатный пресс после его изобретения проклинали как могильщика человеческого разума. Ученым уже не нужно будет знать все, они смогут просто «наводить справки». Когда появился роман, его проклинали как явление разрушительное, развлекательное, поверхностное и пагубное для морали. Такими же визгливыми воплями протеста были встречены народный театр, мюзик-холл, кинематограф, затем телевидение, видеоигры и теперь вот социальные сети. Вообще-то говоря, подростки – существа куда более дюжие, чем полагают люди пожилые. Издевки, брань, троллинг – все это, разумеется, ужасно, однако, поверьте мне, подросткам живется сейчас лучше, чем сто лет назад, когда телесные наказания, садистские избиения и сексуальные надругательства сходились всем с рук и в школе, и дома.

Так или иначе, мой отец, принадлежащий к поколению радио (или «беспроводному» поколению, как это тогда называлось), считал, что телевидение допустимо в качестве средства освещения, скажем, похорон Черчилля, высадки человека на Луну или серьезных новостей, и наш маленький черно-белый домашний «ящик» был сослан в угол кухни, а антенной ему служила воткнутая в антенное гнездо и прилепленная синтетической резиной к стене проволока. Мама приклеила к нему сбоку вырезанную из газеты карикатуру – домохозяйка объясняет подруге: «Когда-то у нас был самый первый цветной телевизор, но теперь весь цвет вылинял».

Бессонница, особенно в жаркие ночи, составляла одно из главных злосчастий моего детства и юности. Единственным ответом на нее было чтение, однако и оно порождало нелепую проблему. Если я открывал окна, комнату быстро наводняли огромные мотыльки, майские жуки, жуки июньские и всякого рода кошмарные членистоногие, водившиеся в Норфолке, – подобные спятившим крылатым лобстерам, они бросались прямым ходом к прикроватной лампе, забирались под абажур и там хлопали крыльями, бились и зудели. А я, увы, до жути боялся мотыльков, – страх решительно неразумный, я знаю, но мучительно реальный.

Несмотря на эти ненавистные порхливые помехи, мне удавалось перелопатить по несколько сотен книг в год. У родителей книг имелось много, и бóльшую их часть я вскоре проглотил не по одному разу. Источником чтения служил и громоздкий серый фургон передвижной библиотеки, машина эта появлялась каждый второй четверг на перекрестке двух узких дорог невдалеке от нашего дома. Не уверен, что такая служба существует и поныне, мне это кажется сомнительным. Похоже, теперешние муниципалитеты слишком заняты, чтобы еще и чинить дороги, давать детям образование или опорожнять мусорные баки.

Одним воскресным днем, пока отец работал в конюшнях «напротив» и никакой угрозы не представлял, я, двенадцатилетний, смотрел по маленькому телевизору экранизацию пьесы «Как важно быть серьезным», снятую Энтони Асквитом. Живо помню, как я сидел на деревянном кухонном табурете – раскрасневшийся, с приоткрытым ртом, ошарашенный тем, что вижу и в особенности – *слышу*. Я просто-напросто и понятия не имел о том, что язык способен творить такое. Что он может танцевать, подсакивать, щекотать, писать кренделя, кружиться, обманывать и соблазнять, что его ритмы, придаточные предложения, повторы, каденции и краски могут возбуждать в точности как музыка.

Услышав, как Алджернон говорит Сесили: *«Надеюсь, Сесили, я не оскорблю вас, если скажу честно и прямо, что в моих глазах вы зримое воплощение предельного совершенства?»*^[21] – я скрючился, захихикал и повторил эти слова, не веря своему блаженству. Повторил столько раз, что они навеки впечатались в мою память. Мне еще предстояло торжественно повторять их миссис Райзборо (несколько озадаченной).

«Ох, оставьте вы ваши глупости. Так вы Нянюшку с ума сведете».

К тому времени миссис Райзборо повысили в звании – она стала няней моей сестры и почему-то считала это большим продвижением по службе (хотя, как и прежде, готовила, гладила и исполняла другие несчетные работы по дому), вследствие чего предпочитала, чтобы ее называли Нянюшкой Райзборо, а не миссис Райзборо. Имя, данное ей при крещении, Долли, использовалось лишь в кругу ее собственной семьи, да и там ее муж Том, коему она и была обязана своей фамилией, предпочитал называть супругу на джейн-остин-диккенсовский манер «миссис Райзборо». Она умерла в прошлом году, дожив почти до ста лет. За прошедшие годы я несколько раз навещал старушку и страшно жалею, что похороны ее прошли без меня. Не уверен, что еще существует где-нибудь подобное сочетание независимости, силы и безоглядной верности. Ее сын Питер стал владельцем очень успешной и популярной норфолкской закуской, носящей название «Крысоловы», и Нянюшка Райзборо вместо того, чтобы сидеть себе за столиком с более чем заслуженной чашкой супа, настояла на том, что будет мыть посуду в кухне за баром, – и мыла даже в свои девяносто с лишним лет.

Возможно, в тот давний день мои бесконечные уверения, что я **надеюсь не** оскорбить ее, сказав честно и прямо, что в моих глазах она зримое воплощение предельного совершенства, слегка досаждали ей, однако миссис Райзборо давно привыкла к моему поведению, бывавшему по временам столь необузданным, причудливым и глупым, что сейчас его наверняка диагностировали бы как «синдром гиперактивности с дефицитом внимания».

Та фраза Уайльда и многие другие из услышанных мной в фильме – *«Сесили, в мое отсутствие вы приготовите политическую экономию. Главу о падении рупии можете опустить. Это чересчур злободневно»* – совершенно завладели моим воображением. Видеозаписи в ту пору не существовало, и лучшее, что я мог сделать, – воображать себя живущим в мире этого поразительного фильма, оказавшегося, о чем сообщила мне мама (после того, естественно, как терпеливо снесла известие, что и она тоже – зримое воплощение предельного совершенства) экранизацией пьесы, экземпляра которой, с сожалением признала она, в нашем доме нет.

И потому в следующий четверг я, единственный клиент (потребитель? пользователь? – как это тогда называлось?), нетерпеливо стоял на пересечении двух дорог, ожидая голубовато-серой передвижной библиотеки. Водитель остановил у обочины то, что, сколько я знаю, именуют мебельным фургоном, вышел, чтобы открыть заднюю дверь и опустить на землю лесенку, взьерошил мне волосы и прилепнул, когда я начал подниматься, по попке (в те дни взрослым разрешалось, что вполне разумно, совершать такие поступки, и никто не волок злодеев в суд и не поджигал их дома). Библиотекарша, милейшая старушка в кардигане и при множестве бус, также имела склонность ерошить мои волосы. Она часто говорила мне:

ты прочел столько книг, что сам скоро станешь книгой. Ребенок, читающий книги, особенно летом, выглядел очень странно и, разумеется, нездорово, – впрочем, меня всегда считали таковым по причине моей ненависти к любым организованным играм и спорту.

– Вы когда-нибудь слышали, – спросил я, едва дыша от волнения, – о пьесе под названием «Как важно быть серьезным»?

– Ну конечно, дорогой мой, и, думаю, она стоит у нас вон на той верхней полке.

Это был далеко не самый большой раздел драмы, какой вы когда-либо видели в библиотеке. Немного Шоу, Пристли и Шекспира, но также – о чудо! – избранные комедии Оскара Уайльда. Старушка проштемпелевала книгу роскошным пружинистым шлепком, который никогда больше не прозвучит на этих берегах. В последний раз книга, как показал мне предыдущий штампик, выдавалась в 1959#м. Я поблагодарил библиотекаршу, спрыгнул на землю и полетел – по дорожке, вокруг дома, вверх по лестнице – к себе в спальню.

«Веер леди Уиндермир», «Женщина, не стоящая внимания», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным». Я перечитывал их снова, и снова, и снова, а две недели спустя опять оказался на перекрестке, снедаемый нетерпением еще пущим.

– Есть у вас что-нибудь еще из Оскара Уайльда?

– Ну, вот тут я не вполне уверена... – Она подняла очки для чтения, свисавшие на изящной серебряной цепочке с ее шеи, подтолкнула их вверх по носу и прошла вокруг стола, оглядывая полки так, точно видела их впервые. – Ага, вот ты где.

«Полное собрание сочинений Оскара Уайльда». Это было больше, много больше того, на что я мог хотя бы надеяться. Я снова бросился на кровать и приступил к чтению. Некоторые из написанных в сократовской манере диалогов, например «Упадок искусства лжи» и «Критик как художник», привели меня в легкое замешательство, а «Душа человека при социализме» местами оказалась выше моего разума. Стихи я откровенно невзлюбил, за вычетом «Баллады Редингской тюрьмы», показавшейся мне – по выбору темы – странноватой для такого блестящего, ничем не ограниченного повелителя слов. Сказки довели до слез и доводят по сей день, а «Портрет Дориана Грея» затронул во мне какие-то струны, ясно определить которые я не мог, растрожил и взволновал до глубины души. «*De Profundis*» я также нашел прекрасным, но загадочным. Я не был уверен, что понял значение ссылок на «тюрьму», «позор», «скандал» и так далее, поскольку полагал, что это письмо – просто художественное произведение, аллегорический смысл которого мне пока не доступен.

Эту книгу я продержал четыре недели и когда наконец вернул ее в разъездную библиотеку, то любезнейшая библиотекарша отказалась взять у меня шесть пенсов штрафа за задержку. Я же спросил, нет ли у нее еще каких-нибудь книг этого самого Оскара Уайльда.

Она указала на обложку:

– Если здесь сказано «Полное собрание сочинений», следует полагать, что оно полное, не так ли, молодой человек?

– Хм. – Трудно было не увидеть правоту этих слов. – Ладно, но, может быть, есть что-нибудь *про* него?

Мягкие, напудренные щеки старушки слегка порозовели, и она дрогнувшим голосом спросила, сколько мне лет.

– О, я много чего прочитал, – заверил я. При моем росте и голосе, который так и не сломался, а просто постепенно становился все ниже, я обычно ходил за ребенка старше моих настоящих лет; в то время, если память мне не изменяет, я только-только перевалил за тринадцать.

– Ладно. – Она порылась на нижних полках и извлекла оттуда книгу «Процессы Оскара Уайльда», написанную человеком по имени Г. Монтгомери Гайд.

Книга произвела на меня впечатление удара в зубы. В живот. В промежность. Но более всего – в сердце. Прочитать о характере этого блестящего, обаятельного, мягкого, исключительно доброго и одаренного ирландца, а потом узнать правду о внезапном и злосчастном третьем акте его жизни, о трех судебных процессах (многие забывают, что после иска, который он сдуру предъявил маркизу Куинсберри, уголовных процессов над ним состоялось два, а не один, поскольку на первом присяжные вынести вердикт не смогли), об изгнании, о нищенских и несчастливых путешествиях, а затем жалкой смерти в Париже, – это было едва ли не выше моих сил.

И все же.

И все же книга подтвердила то, что в глубине души я знал всегда. То, что мы с ним обладали схожей «природой», как сказал бы он, или «сексуальностью», как мы называем это теперь.

История Оскара Уайльда надрывала мое сердце. Передвижной библиотеки мне было уже недостаточно. Единственным местом, куда я мог обратиться, была городская библиотека Нориджа, отстоявшая от нашего дома на двенадцать миль. Иногда мне хватало энергии добираться туда на велосипеде, иногда я ехал автобусом, курсировавшим раз в день по будням, – он останавливался на все том же перекрестке без двадцати семь утра.

До интернета и созданных Бернерсом-Ли^[22] чудес Всемирной паутины наилучшее приближение к метаинформации и гиперссылкам давали карточки из деревянных ящичков библиографического и предметного каталога библиотеки.

Я начал с поиска других книг Монтгомери Гайда. Одной была «Любовь, что таит свое имя». Еще более поразительной оказалась его «Другая любовь». Вскоре я уже не вылезал из городской библиотеки Нориджа, выписывая имена из библиографий каждой прочитанной мною документальной книги (библиография – это список названий и писателей, которыми автор пользовался как источниками), а затем бросаясь к каталогам, дабы выяснить, имеется ли в библиотеке экземпляр чего-то, относящегося к только что обретенной мной новой нити, ведущей в мир запретной любви. Таким манером я и проведал о бароне Корво^[23], он же Уильям Рольф, о его «Венецианских письмах», у читателя которых глаза лезут на лоб, а штаны съезжают набок, о Нормане Дугласе, Т. К. Уорсли, «У» (авторе анонимной автобиографии гея), Робине Моэме, Ангусе Стюарте, скандальном Майкле Дэвидсоне, Роджере Пейрфитте, Анри де Монтерлане, Жане Жене, Уильяме Берроузе, Горе Видале, Джоне Ричи^[24] и десятках, десятках других. Это был примерный эквивалент шелканья по WEB-ссылкам, отнимавший, разумеется, много времени, но волновавший до того, что у меня спирало в груди дыхание. Попутно – и это было счастливым совпадением – я приобрел своего рода альтернативное литературное образование, параллельно тому, какое давала мне школа. Невозможно же читать Жене или читать о нем и не натолкнуться на имя Жан-Поль Сартра (полностью, насколько мы знаем, гетеросексуального), как невозможно прикоснуться к Робину Моэму, не познакомившись попутно с Полом Боулзом и всей танжерской компанией^[25]. Берроуз ведет к Дентону Уэлчу^[26], Корво – к Бенсонам, Рональду Фербенку, Стивену Теннанту, Гарольду Эктону^[27] и так далее; в итоге благодаря столь же счастливому, сколь и случайному стечению обстоятельств мне открылся мир художников и писателей, геев и вовсе не геев, что само по себе было наградой.

А родись я в 1980#х? Всю защиту и поддержку, в каких нуждалась моя сексуальность, я отыскал бы в телевизионных программах наподобие «Голубые – люди как люди», в целующихся геях из телесериалов «Жители Ист-Энда» и «Бруксайд», в гей-парадах, проходящих по улицам Лондона, и в миллиардах интернет-сайтов, смачных и пресных. Разумеется, я до некоторой степени сожалею о том, что мое детство, юность и ранняя пора возмужания предшествовали всему этому многоцветью, свободе, терпимости, – прекрасный новый мир геев уберег бы меня от ощущения моей обреченности на скрытность, изгнанничество, убо-

гие секс-шопы и полицейские суды, – и все же я очень, очень рад, что единственный, какой был мне доступен, путь к гордому приятию и поддержке моей геевской природы прошел через литературу. Думаю, я в любом случае полюбил бы Шекспира, Китса, Остин, Диккенса, Теннисона, Браунинга, Форстера, Джойса, Фитцджеральда – тех, кого грубовато-добродушный преподаватель одной из моих частных школ именовал «важными птицами», – однако я благодарю мою сексуальность (и наблагодариться не могу) за то, что она, в частном моем случае, наделила меня любовью к чтению и самовосприятием куда более полным, нежели те, какие я получил бы от *gay tube* и *xhamster.com*.

Итак, я учусь теперь в школе «Аппингем», зная, что, технически говоря, принадлежу к презираемому, особому тайному племени, но почти не подозревая, что сексуальность, толкающая тебя к рукоблудию, никогда не будет главным вопросом жизни, что это мелочь, пустяки. Ударило же мой, так сказать, корабль в самую середку, продырявило ниже ватерлинии и отправило пускать пузыри с океанского дна не что иное, как любовь. Любовь обратила меня в затонувшее судно. Любовь – глупое слово, затертое, бесконечно повторяемое поэтами-лириками и сочинителями текстов популярных песенок; любовь – тема столь многих пьес, поэм и фильмов; любовь – слезливая сюжетная линия, которая вечно путается под ногами у каждого хорошего рассказа. Любовь пришла и ударила меня в лицо с такой силой, что я и по сей день страдаю головокружениями и размягчением мозга. Я распростерся на ринге, признал себя побежденным и, опустившись на дно морское, позволил ракушкам лепиться к моей гниющей палубе – если вы простите мне смешанную метафору. Впрочем, настоящая жизнь становится порою столь сложной, что чистая, не смешанная метафора утрачивает всякую убедительность. Правда же относительно любви... ну, помните просьбу Одена:

Будет резкой, как смена погоды?
Будет робкой иль бури сильней?
Жизнь мою переменит ли с ходу?
О, скажите мне правду о ней!^[28]

Ответом на третью строку будет подчеркнутое «да». Сложите вместе маниакально дурное поведение в классе, наркотическую зависимость от сладостей (описанную в любовных, дотошных подробностях на страницах «Хроник Фрая»), ненависть к спортивным играм и страх перед ними (парадоксальным образом сменившиеся ныне любовью почти ко *всем* видам спорта) и это новое, заставлявшее гулко биться сердце, рвавшее душу чувство – и вы получите Стивена, слишком возбужденного, чтобы с ним могли справиться какие угодно школы, учителя или родители, не говоря уж о нем самом.

В общем, из «Аппингема» меня выперли в первый триместр младшего шестого класса, едва я приступил к двухлетним занятиям по программе повышенного уровня. Экзамены обычного уровня я сдал в четырнадцать лет, тогда это было нормальной процедурой: если школа считала, что вы способны их сдать, вам предоставлялась такая возможность. Я мог быть зрелым в том, что касается образования, но в плане физическом и эмоциональном был таким же зрелым, как новорожденный щенок. Но далеко не столь симпатичным.

За что меня выгнали? Кто-то из читателей задастся именно этим вопросом, кто-то (возможно, их будет больше) закипятится, закричит: «Не книга, а канитель какая-то!» С другой стороны, обходить весь эпизод молчанием, словно в расчете на то, что читатели, пребывающие во мраке неведения, сами обо всем догадаются или побегут покупать предыдущий том моей автобиографии, – мне это представляется неучтивым. И потому я еще раз напомним тем, кому не любы повторения: вы можете отложить книгу, смешать себе полезный для печени

коктейль из сывороточного протеина, связать чехольчик для смартфона или просто вздремнуть.

А выгнали меня из школы после того, как я получил от директора моего «дома» разрешение съездить в Лондон на собрание «Общества Шерлока Холмса», самым молодым членом которого я тогда был. Я собирался представить собранию мою статью о метризации Т. С. Элиотом холмсовского описания жизни, облика и привычек профессора Мориарти, обратившегося в «Популярной науке о кошках, написанной Старым Опоссумом» в Таинственного Кота Макавити. Идея была такая: провести на собрании субботний вечер, погулять по Лондону в воскресенье и понедельник, объявленный выходным, потому что на него пришлась серебряная годовщина королевы и принца Филиппа, и в тот же день вернуться последним поездом в школу. Но получилось так, что меня (и моего друга Джо Вуда, который не был прирожденным нарушителем закона, а сопровождал мне просто из верности) вдруг обуяла киномания. Мы раз за разом и еще за разом смотрели «Приключения кота Фрица», «Заводной апельсин», «Кабаре», «Крестного отца», которых круглосуточно крутили в больших кинотеатрах Вест-Энда. А когда мы вышли из этого загула, была уже среда.

Тихими овечками мы вернулись в школу, и она с волчьим аппетитом сожрала нас. Джо, за которым прежде грехов не числилось, «сослали в деревню» до конца триместра. Мне показали красную карточку.

Родители попробовали испытать другой образовательный центр, местную классическую школу прямого субсидирования «Пастон», известную тем, что в ней когда-то учился юный Горацио Нельсон^[29]. Для меня эта славная страница ее прошлого была пустым звуком, и я обзавелся привычкой соскакивать с автобуса, который вез меня к школе, в городке Эйлшем, на полпути между моим домом и Норт-Уолшемом, где находилась школа, и тратить весь день и все деньги, какие мне удавалось стибрить из маминой сумочки, на пинбол, сигареты и «фанту». В скором времени и «Пастон» устал от меня. Первым делом школа пожелала, чтобы я прошел курс обычного уровня. Я гневно (а также, смею сказать, надменно и дерзко) заявил, что уже сдал экзамены обычного уровня, сдал очень хорошо и был отчислен из «Аппингема», проучившись половину первого триместра в шестом классе и проходя курс повышенного уровня. Почему я должен снова опуститься до четвертого класса? «Потому что мы здесь исходим из возраста учеников». Такой ответ показался мне неубедительным. А может быть, школа чувствовала, что я чистой воды показушник и за душой у меня ничего нет. Так или иначе, я понемногу обращался в презрительно ухмылявшегося подростка из разряда «Видал я ваше обра-на-хер-зование». Пинбол и курево – они были самыми возвышенными из моих устремлений.

Однако и эти скромные развлечения требовали денег. Когда я со скандалом вылетел из «Пастона», родители отправили меня в «Норкит» – «Норфолкский колледж искусств и технологии», находившийся в Кингс-Линне. И там я обзавелся привычкой еще более дорогостоящей – пристрастился к карточной игре. Наша компания курила и попивала пиво в пабе под названием «Мешок с шерстью», часами играя в старинную разновидность трехкарточного покера. Я радостно сошелся с сообществом весьма начитанных и обаятельных молодых эксцентриков Кингс-Линна. Мы встречались, чтобы поговорить о бароне Корво, писали статьи для странноватого журнала «Неуспех-пресс» (слово «неуспех» искажено было намеренно), изобрели собственный алфавит и устраивали «Вечеринки парадоксов», пропусками на которые служили сочиняемые нами парадоксы. Вы можете счесть все перечисленное претенциозным, но я, обнаружив в Кингс-Линне такую компанию, пришел в совершенный восторг. Это было все равно что найти в пустыне не воду, но бутылку со смесью трех соков – айвы, карамболы и китайской сливы. Оригинально. Странно. Чревато новыми возможностями. Соблазнительно. И, как мы говорим почти обо всем, что нам нравится, живительно.

По крайней мере, «Норкит» позволил мне заниматься по программе повышенного уровня. Однако вследствие начавшегося у меня романа с прелестной и умной девушкой из нашей группы (да-да, 10 с чем-то процентов моего существа вполне готовы откликаться на женскую привлекательность), полного равнодушия к учебе и отчаянной первой любви, которая так запутала мою жизнь в «Аппингеме» и еще продолжала сжигать меня изнутри, я становился все менее ответственным, предсказуемым и способным на что-то надеяться.

Ужасное это дело – оглядываться назад и понимать, что вырос ты в своего рода позолоченном веке. Тускневшем, но тем не менее позолоченном. 1970#е принято изображать серыми, безотрадными, умученными гиперинфляцией, обремененными неудачами, забастовками и внезапными вспышками классовой борьбы. Конечно, когда вы смотрите какую-нибудь серию «Суини»^[30], вам трудно приравнять сыгранного Джоном Тоу угрожающего, скрипящего зубами, хлещущего виски, дымящего сигаретами, плюющего на условности детектива Джека Ригана из Летучего отряда к неубедительно изображающему оксфордский выговор, любящему кроссворды и классическую музыку, водящему классический «Ягуар», одетому в твид инспектору Морсу, который появился одно поколение спустя^[31]. Брутальный реализм первого сериала никак не вяжется с уютной белибердой второго, и это проливает свет на многое. Подобным же образом великолепная уравновешенность сериала «Вверх и вниз по лестнице»^[32] сильно выигрывает в сравнении с жутким снобизмом и прилипчивым *noblesse oblige*⁹ ужасного «Аббатства»^[33]. Говорю это и чувствую себя виноватым: у меня есть друзья-актеры, которые играют в этом фильме, и играют великолепно, однако против правды не попрешь.

В музыкальном же отношении 1970#е были поразительны даже для человека вроде меня, не особенно привязанного к поп– или рок-музыке. Скажем, начало 1973#го резко отличается от его конца – и в музыке, и в моде. Явились облегающие, слегка расклеванные от колен брюки, а широкие клеши откланялись. Каждую неделю вы могли видеть в программе «*Top of the Pops*» молодых Элтона Джона, Дэвида Боуи или Марка Болана (а возможно, и Гари Глиттера с Джимми Сэвиллом), не говоря уж о группах наподобие *Mud, Slade, Wizzard, Roxu Music* и о мириадах причудливых юмористических песенок и эклектических миксов. Однако миром правили гиганты альбомных записей – *Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, Genesis, Yes...* несколько лет спустя разразился панк – все это на расстоянии в паре ударов сердца от распада *The Beatles*. За двадцать пять лет, прошедших между появлением рэпа и нынешним днем, музыка – если только мой слух не изменил мне – не претерпевала ничего подобного тогдашней замечательно быстрой, будоражащей воображение, красочной и фундаментальной смене стилей. Эсид-хаус, транс, гаражный панк и прочая электронная танцевальная музыка проистекали из хип-хопа, сменяя друг друга и образуя более-менее неразрывную последовательность. Фотография одетого по моде 1990#х восемнадцатилетнего молодого человека ничем не отличается от фотографии восемнадцатилетнего молодого человека, одетого по моде двадцать первого века.

Но дело не в этом, совсем не в этом. Мы привычно стенаем о притязаниях на чью-то поддержку, которые, как нам говорят, присущи нынешней молодежи. По-моему, это чушь. Ей просто-напросто известно, какую *действенную* поддержку получало мое поколение. Я происходил из вполне обеспеченной семьи и тем не менее после того, как меня изгнали из закрытой школы, учился исключительно за государственный счет. Мне оплачивали расходы на жилье, питание и транспорт, на обучение, на все. Мало того, задолжав в кембриджском книжном магазине, я отправлял фотокопию его счета на чек-реста с чем-то фунтов (тогдашних – теперь это больше тысячи) в Норфолк, в Нориджский отдел народного образования. Мой тьютор прилагал к счету записку, в которой говорилось, что, как студент,

⁹ Положение обяывает (*фр.*).

стремящийся сделать в будущем ученую карьеру, я безусловно нуждаюсь в этих книгах. И мне тут же выслали чек на проставленную в счете сумму. Я рассказываю истории вроде этой моим крестникам и племянникам, которые только что вышли, обремененные долгами, из университета, и вижу, что им хочется дать мне в зубы. Посильнее.

Закончив университет, я поселился с моим другом и кембриджским любовником Кимом на квартире в Челси, и жизнь представлялась нам бесконечно интересной и простой. Нынешний выпускник предложений получает не густо – непрестижная, низкооплачиваемая, как в «Макдоналдсе», работа, бесконечные вообще никак не оплачиваемые интернатуры (да и то, если он знает нужных людей) и нижняя ступенька лестницы покупательной способности, которая находится выше, да и привлекательностью отличается меньшей, чем та, что в мои ранние дни считалась средней.

Но, минуточку, – вы снова заставили меня забежать вперед. Итак, «Норкит». Трехкарточный покер старинного образца, пиво, девушка, ни малейшего интереса к учебе и... бегство.

Точные обстоятельства Первого Великого Побега как-то стерлись из моей памяти. Мне было семнадцать лет, год стоял 1974#й, я, помнится, согласился съездить на какой-то музыкальный фестиваль и повидаться там с моим другом Джо Вудом. Если вкратце излагать эту долгую историю (длинно она изложена в «Моав – умывальная чаша моя»), то в моем распоряжении оказались кое-какие кредитные карточки. Иными словами, я их украл. Короткая рука закона вяло нащупывала меня целых три месяца и наконец сцапала в суиндонском отеле «Уилтшир», весьма удобно расположенном прямо напротив полицейского участка.

Имя свое я назвать отказался. Мои бедные старики, отец и мать, и так уж натерпелись достаточно, не правда ли? Коварный полицейский, без моего ведома обшаривавший в соседней комнате мой багаж, вошел и медленно, шепотом продиктовал имена, найденные им на форзацах книг, которые я возил с собой во время своих приключений. Большая их часть была, разумеется, уворована с полок библиотек, книжных магазинов и домов друзей, и на титульных листах их были начертаны имена самые разные. В конце концов, когда сержант-детектив уже беседовал со мной в комнате для допросов, я услышал «Стивен Фрай?», сказанное негромким голосом за моей спиной. Я повернулся и ответил: «Что?» – и только тогда понял, что попал в ловушку. Имя это, естественно, значилось в полицейском списке пропавших без вести, и в скором времени родители договорились с адвокатом – мужем моей жившей неподалеку крестной матери. Игра окончена, я погиб.

Последовали несколько месяцев заключения в тюрьме с прелестным названием «Паклчерч». От освобождения под залог я отказался (не думаю, впрочем, что моим родителям его предложили) и провел две недели в «Паклчерче», а затем снова предстал перед суиндонским мировым судьей, ожидавшим, что я заявлю о своей невинности. Я же заявил, что виновен по всем статьям, и был отправлен обратно в тюрьму, а полиция принялась с удручающей неторопливостью собирать и накапливать документы, поступавшие из семи графств, в которых я мошеннически использовал чужие кредитные карточки. После возвращения в «Паклчерч» я обрел статус настоящего зека, получил обмундирование другого цвета и был приставлен к работе.

Время проходило достаточно легко и приятно. Господи, да я же провел четырнадцать лет в системе закрытых школ, а тюремная по сравнению с ней – ничто. Другие заключенные этого заведения для малолетних преступников, бывшие и покрепче, и в большинстве своем постарше меня, плакали, перед тем как заснуть. Бедняги, до тюрьмы они не провели вне дома ни одной ночи.

На процессе меня представлял добрый друг моих родителей, импозантный сэръ Оливер, в ту пору – видный королевский адвокат, а ныне – судья в отставке. Я опасался, что его громкое имя и репутация могут вызвать у мировых судей раздражение: столичная пушка

прикатила палить по провинциальным воробьям – это должно было оскорбить их *amour-propre*¹⁰. Беспокоило меня и то, что они могут нетерпимо отнестись к юнцу, который в отличие от других малолетних преступников получал какие угодно возможности и блага, но всякий раз демонстративно плевал на свое счастье. Я виновато поеживался, думая об очевидной разнице между моими «жизненными возможностями», как мы теперь выражаемся, и такими же моих злополучных товарищей по «Паклчерчу», родившихся в среде, полной бедности, невежества, грязи и надругательств.

Судьи, однако ж, пришли к заключению, что, поскольку я происхожу из хорошей семьи (а возможно, и потому, что я принадлежу к одному с ними классу, – мысль, от которой я краснею), необходимость в тюремном заключении отпадает, а оно в ту пору и для юноши моих лет принимало вид «короткого, резкого шока», как выразился министр внутренних дел Рой Дженкинс, – зловещего исправительного центра, бывшего тогда последним пискom моды. Вот его я боялся: знакомые по «Паклчерчу» зеки рассказывали, что жизнь там сводилась к бесконечным пробежкам, спортзалам, тяганию штанги, питанию стоя и снова пробежкам – хоть к Олимпиаде готовься. Такой исправительный центр снабжал наш мир негодьями, обладавшими превосходной физической формой, идеальными кандидатами на пост вышибалы ночного клуба или головореза, который вытрясает долги из клиентов наркодилера. На мое счастье, меня – принимая во внимание месяцы, которые я уже отсидел (плюс другие указанные возможные причины), – приговорили к двухлетнему испытательному сроку под присмотром родителей.

Теперь мы переходим от образа ничтожного юнца, лежащего на каменном полу тюремной камеры, – оконная решетка отбрасывает тени прутьев на его сотрясаемое рыданиями тело, в углу попискивают, переговариваясь и писая, крысы, – переходим от этой жалкой (и полностью неточной) картины к торжественному молчанию во время поездки домой из суиндонского мирового суда, к строгому лицу сидящего за рулем отца: челюсти его крепко сжаты, глаза сурово взирают на дорогу.

У меня создается впечатление, что я набрасываю биографию кембриджского шпиона, а она сама по себе есть отдельный жанр литературы – документальной и беллетристической. Однако при всяком описании Кима Филби либо Га я Бёрджесса и людей их круга или, скажем, крота из «Шпион, выйди вон!» ле Карре (не надо, нет тут никакого спойлера) непременно подчеркивается, что раннее лишение родительской опеки и сама природа старомодного и классического английского образования наделяют человека определенного рода обаянием, умом, двойственностью, коварством (я и в самых ранних моих воспоминаниях о первых школьных годах уже ношу кличку «Хитрый Фрай») и почти патологической потребностью испытать свои силы, к чему-то примкнуть, – то есть всеми качествами пятизвездного, двадцатичетырехкаратного предателя и шпиона. Я, разумеется, ни тем ни другим не был и не стал, однако, учись я в Кембридже в «ничтожное и бесчестное десятилетие», в 1930#е, а не в начале тэтчеризма – преимущественно между «зимой недовольства» и Фолклендской войной, – я, возможно, и вошел бы в Кембриджскую пятерку, обратив ее в Кембриджскую шестерку. Сомневаюсь, впрочем. Не уверен, что секретная разведслужба, или МИ6, как ее принято теперь называть, этот самый закрытый из всех когда-либо существовавших в Великобритании клуб для избранных, принял бы в свои члены еврея. Виктор Ротшильд подошел к этому ближе всех, состоя, подобно Бланту и Бёрджессу, в «кембриджских апостолах», но даже он, обаятельный первоклассный крикетист, украшенный орденами герой войны и водивший «Бугатти» искатель приключений, попал в МИ5, а не в МИ6. Некоторые и поныне считают, что Ротшильд-то и был в той компании пятым. Скорее всего, о том, кто им был, мы никогда не узнаем. Однако разница между двумя этими службами колос-

¹⁰ Самолюбие, гордость (фр.).

сальна: 6 – высший класс, 5 – извините-подвиньтесь. Уверен, сейчас это не так, однако правда состоит в том, что я обладаю множеством необходимых шпиону качеств, вплоть до любви к крикету, клерету и «Клубландии».

Воспитание, которое могло при других обстоятельствах использоваться для хитроумной тайной измены моему племени, привело вместо этого к простой публичной насмешке над ним в пьесе «Латынь!», первом моем настоящем литературном опыте, за которым последовали скетчи, сочинявшиеся для кембриджских «Огней рампы» и, уже после университета, для «Черной Гадюки», «Фрая и Лори» и так далее. Подобно сатире берлинских кабаре 1930#х, которая, по словам Питера Кука, «столь многое сделала для предотвращения успехов Адольфа Гитлера», сатира «Шоу Фрая и Лори» (какой бы она ни была), направленная против приватизации, помешательства на свободном рынке и так далее, обладала силой и эффективностью котенка, вооруженного резиновым штыком, однако ничего иного мы и не ожидали. Не ожидали мы, впрочем, и того, что четверть века спустя страной будут править старые итонцы. Вернее сказать, что они будут – в лице Дэмиэна Льюиса, Доминика Уэста, Тома Хиддлстона, Эдди Редмэйна и – хм! – моего коллеги Хью – заправлять на американском телевидении и определять кассовый успех фильмов.

Творивших между двумя войнами писателей Британии (мужчин) можно, как проницательно отметил в «Детях солнца» Мартин Грин^[34], разделить на два «отряда»: тех, кто, подобно Джорджу Оруэллу, учился в Итоне и жалел об этом, и тех, кто, подобно Ивлину Во, там не учился и жалел уже об этом. Я не могу, разумеется, отрицать, что принадлежу ко второму отряду, поскольку сомневаюсь, что мне кто-нибудь поверит. Великое преимущество получаемого в Оксбридже образования заключается не в том, что, стоит вам получить диплом, как некая мафия принимается проталкивать вас вверх по лестнице, и даже не в самом образовании или образе жизни, которые обеспечивает каждый из этих университетов; подлинное его преимущество в том, что вам никогда не приходится сознавать тот прискорбный факт: вы в Оксбридже не учились. Многие этого и не хотели, и совершенно искренне, многие отделиваются словами: «Ну да, я мог бы поступить и туда, но в Уорике преподавание поставлено лучше», есть и такие, кто кипит от гнева, обнаруживая, сколь многие из нас подвизаются на эстраде, на телевидении, в профессии юриста и на государственной службе. Как кипел бы и я, если бы туда не пролез. То же самое можно сказать и об Итоне. Поучиться в нем было бы неплохо, но, с другой стороны, меня, вероятно, вышибли бы оттуда намного раньше, и кто знает, какие преступные гнусности я совершил бы, обзаведясь галстуком «старого итонца» и лживыми, как у шпиона, повадками?

Да, так где мы теперь? А, молча едем с моими родителями из тюрьмы «Паклчерч» домой, в Норфолк.

Последовали двенадцать месяцев – 1976–1977. Мой первый год самообладания. Возможно, первый и *единственный*. Каждый день я отсиживал на занятиях годового курса повышенного уровня, сумев уговорить Нориджский городской колледж позволить мне его прослушать. А помимо этого читал Шекспира, пьесу за пьесой, записывая их краткое содержание, описывая каждого персонажа и каждую сцену. Я пожирал Чосера, Мильтона, Спенсера, Драйдена, Попа и прочих литературных гигантов, полагая, что должен обратиться в их знатока еще до того, как Кембридж согласится хотя бы взглянуть в мою сторону. В первый раз прочитал «Уллиса» с комментариями Энтони Бёрджесса. Работал не полный день в нориджском универмаге. Не крал, закон не нарушал. Был, это следует сказать, человеком на редкость целеустремленным, трезвым, чистым и сосредоточенным.

Фортуна улыбнулась мне, я получил стипендию Куинз-колледжа и возможность изучать английскую литературу. Если вы прочли «Хроники Фрая», вы сейчас не читаете эти строки, а все еще свежуете кролика или описываете под стилистические изыски Джека и Мэг

Уайт круги по беговой дорожке спортивного зала. Все, что я рассказываю, вам уже известно, поэтому я попотею пока для других, вы же начнете там, где я остановился в прошлый раз.

В Кембридже я сыграл во множестве пьес. Я полюбил блестящего классика и шахматиста (и, что много важнее, чудесного человека) Кима – почти Филби – и поселился вместе с ним. Писал статьи для университетских журналов. Сочинил упомянутую выше пьесу «Латынь! или Табак и мальчишки», которая была поставлена в Кембридже, а затем принята Эдинбургским фестивалем. Это привело меня к знакомству с рослым малым, обладателем красного пятнышка на каждой щеке и милейшей манеры произносить «Здорово!». Это был Джеймс Хью Кэлум Лори, человек, имя которого можно убедительно произнести шестнадцатью способами.

«Привет, я Кэлум Лори Хью Джеймс».

«Лори Джеймс Хью Кэлум, к вашим услугам».

«Джеймс Лори Кэлум Хью, чем могу быть полезен?»

*Et cetera*¹¹. Столько возможных перестановок, однако он предпочел зваться Хью Лори – под этим именем его знал маленький мир Кембриджа, и под этим же знает ныне более широкий мир... чего?.. ну, в общем, более широкий.

Учась на последнем курсе, мы вместе с друзьями – Эммой Томпсон, Тонни Слаттери, Полом Ширером и Пенни Дуайер – поставили шоу. Оно получило новую тогда премию, называвшуюся «Премией Перрье», и в результате мы показали его в Лондоне, потом в Австралии, а потом записали на Би-би-си.

Получается нечто линейное и скучное, даже если вы ничего этого прежде не читали.

Мы с Кимом делили квартиру в Челси; Хью, Эмма, Пол и я начали работать в Манчестере над постановкой шоу для телекомпании «Гранада». Нас, так сказать, совокупили с Беном Элтоном, Шивонной Редмонд и Робби Колтрейном, чтобы создать новую труппу, исполняющую комические скетчи. Шоу, которое у нас получилось, «На природе», большого успеха не имело, однако мы нравились друг другу, да и возможности у нас появлялись все новые.

Мы с Кимом разошлись, но и поныне остаемся ближайшими друзьями. Начались мои пятнадцать лет так называемого «целибата». Я получал от газет и журналов предложения писать статьи, сыграл на вест-эндской сцене в пьесе Алана Беннетта «Сорок лет службы», снялся в «Черной Гадюке II».

Затем настал черед музыкальной комедии Ноэла Гэя «Я и моя девочка». Я работал над либретто, иными словами, над фабулой, диалогами и текстами нескольких песенок. Среди написанного Ноэлом Гэем обнаружилась очаровательная песенка «Солнце нагрело шляпу», и нам с постановщиком Майком Оккрентом удалось использовать ее как вступление ко второму действию спектакля. Все как-то чувствовали, что куплет:

Раньше он поджаривал
Негритосов в Тимбукту,
Но вот он возвратился –
Чтоб с вами сделать ту же штуку –

требует небольшой доработки¹². Благодаря моему лирическому таланту, гилбертовскому остроумию и поразительным познаниям в области географии, сельского хозяйства

¹¹ И так далее (*лат.*).

¹² Уже после того, как я это написал, местная радиостанция выгнала своего диджея за то, что бедный сукин сын проиграл старую запись этой песенки. О Боже! (*прим. СФ*).

и ботаники куплет этот вышел из-под моих плетущих волшебные узоры пальцев в следующем виде:

Раньше он поджаривал
Абрикосы в Тимбукту,
Но вот он возвратился –
Чтоб с вами сделать ту же штуку.

И никто ничего не заметил. Не было писем от разгневанных малийцев с отрицанием того, что они хоть раз в жизни, пусть даже в шутку, поджарили хотя бы один-единственный абрикос. Ни угроз убийства от гильдии профессиональных жарщиков абрикосов из города Атланта, штат Джорджия. Был только успех постановки пьесы в Вест-Энде, а затем на Бродвее. Она принесла мне деньги. И я начал тратить их как буйнопомешанный: винтажные автомобили, загородный дом и так далее.

Каждый мой день заполнялся сочинительством книжных рецензий для ныне покойного журнала «Лиснер», статей общего толка для таких журналов, как «Арена», и радиоскетчей для множества программ, в которых выступал Нед Шеррин.

Я подружился с Дугласом Адамсом. Вступил в пожизненную любовную связь со всем, имеющим касательство к компьютерам и цифровому миру.

В 1986#м, когда мы только-только закончили снимать «Черную Гадюку II» и жили с Хью и другими в одном доме, актер, имя которого я по очевидным причинам называть не стану, предложил мне на пробу «дорожку» противозаконного стимулирующего средства – кокаина.

←

Правильно, теперь могут вернуться те, кто считает, что впитал в себя книги «Моав – умывальная чаша моя» и «Хроники Фрая». Из последней вы, вернувшись, уже знаете, что, по-видимому, я появился на свет с склонностью впасть в наркотическую зависимость от всего, что начинается на «К». От конфет и вообще сахара (C₁₂H₂₂O₁₁) в облинии конфет, коврижек и какао-бобов (переработанных в шоколад), от курева, кредитных карточек (прежде всего чужих), комедии, Кембриджа, классических автомобилей, клубов и так далее.

Но кокаин. О боже. Тут следует вести себя осторожно. Если я буду разглагольствовать о нем слишком пространно, это произведет впечатление отталкивающего бахвальства: «Мать честная, ну какой же он безудержный, больной на всю голову малый, наш Стиви. Втыкает марафет, что твоя чокнутая рок-звезда».

Если начну плакаться, выйдет не лучше: «Я был в плену недуга, и имя этому недугу – наркотическая зависимость». Есть тут что-то самодовольное, сопливое и лицемерное; во всяком случае, так скажут многие.

Мы это уже слышали. В коротких журнальных статьях, в длинных слезливых исповедях. Это новость вчерашняя. Вроде как. Да, но это пятнадцать лет моей жизни, и я буду не прав, если не дам вам хотя бы нюхнуть, так сказать, аромата моих кокаиновых лет.

Вопрос морали или медицины?

Перечень

- Букингемский дворец
- Виндзорский замок
- Сандринхэм-Хаус
- Кларенс-Хаус
- Палата лордов
- Палата общин
- «Риц»
- «Савой»
- «Клариджз»
- «Дорчестер»
- «Баркли»
- «Коннот»
- «Гросвенор-Хаус»
- Клуб «Уайис»
- Клуб «Брукс»
- Клуб «Будлз»
- Клуб «Карлтон»
- Клуб «Объединенный Оксфорд и Кембридж»
- «Клуб Ист-Индии, Девоншира, спортивных и частных школ»
- «Морской и военный клуб»
- Клуб «Реформа»
- Клуб «Путешественники»
- «Армейский и морской клуб»
- «Королевский автомобильный клуб»
- The RAF Club
- Клуб «Бифштекс»
- Клуб «Гаррик»
- Клуб «Сэвил»
- Клуб «Артс»
- «Челси артс клуб»
- Клуб «Савидж»
- «Сохо-Хаус»
- Клуб «Граучо»
- Телецентр Би-би-си
- «Фортнум энд Мэйсон»
- Дирекция Независимого телевидения
- «Лондонские студии»
- Студии «Шеппертон»
- Студии «Пайнвуд»
- Студии «Элстри»
- «20#й век Фокс»
- Редакция «Дэйли Телеграф»
- Редакция «Таймс»
- Редакция «Лиснер»
- Редакция «Татлер Вог»

• «Ванити Фэр – Вог-Хаус»

Пользуюсь настоящей возможностью, чтобы безоговорочно извиниться перед владельцами, управляющими и работниками перечисленных выше именитых и неименитых заведений, а также перед сотнями частных домов, офисов, приборных панелей автомобилей, столов, каминных полок и любых полированных поверхностей, которые с легкостью можно добавить к этому постыдному списку. Вы, может быть, хотите, чтобы за прошлые мои преступления меня отовсюду изгнали, запретили, забаллотировали или как-то еще покарали; что же, тогда вам самое время протянуть руку к телефонной трубке и позвонить в полицию или секретарю клуба. Содеянного не воротишь. Признаюсь: я нарушал закон и употреблял в общественных местах вещество, официально признанное наркотиком класса А. Я, можно сказать, повергал роскошные дворцы, благородные дома и безупречные изысканные учреждения в состояние жалкого бесчестья.

Одно дело тогда, другое теперь, и все же некоторые из вас придут в ужас, читая это, – и не потому, что вас так легко потрясти, но потому, что *вы были обо мне лучшего мнения*. К тому же у вас могут иметься дети, которые вдруг да и прочитают о моих плачевных похождениях, и вы опасаетесь, что они воспримут прочитанное как разрешение или потачку попыткам воспроизвести длинную дорожку кокаина, которая протянулась из 1986#го в 2001#й. Ах, Стивен, *как вы могли?* Такая слабость, такое недоумие, такое самопотворство. Такое оскорбление деятельному, завидному уму, коим наградила вас природа, уютному и любящему дому, в котором взрастили вас ваши родители.

Вот тут-то и возникает адское затруднение. Мы оказываемся перед необходимостью выбора между тем, что можно назвать подходом, построенным на наркотическом пристрастии, и подходом, построенным на личной ответственности. Существуют и всегда будут существовать те, кто о наркотической зависимости и слышать не желает. Если говорить подробнее, они отвергают посылку, обозначающую такую зависимость как болезнь, которая овладевает человеком столь же уверенно и устойчиво, сколь и любое хроническое расстройство наподобие диабета или астмы. Они видят лишь слабость, отсутствие твердости характера, недостаток силы воли и хилые попытки найти себе оправдания. А уж когда они слышат удостоенных общественного внимания типчиков, которые разглагольствуют о «трудностях» и «стрессах», их просто рвать тянет. Нет, вы только посмотрите: богатые, привыкшие к непомерным гонорарам, перезахваленные, забалованные «знаменитости», получив первую дозу гнусного порошка, опускаются на четвереньки, и носом втягивают его, и хрюкают, точно откапывающая трюфели свинья, а потом, после долгих лет беззаботного злоупотребления этой дрянью, угробив носовые перегородки, обратившись в параноиков и растеряв немногих своих настоящих друзей, принимаются блять: «Так я же больной! Я страдаю наркотической зависимостью! Помогите!»

Я намеренно расписываю это самыми черными красками и все-таки знаю: некоторые из вас увидят в последнем предложении корректный или по меньшей мере убедительный анализ. На наркоманов принято взирать, морща в отвращении нос, – точно так же, как на болезненно тучных бедняг, ковыляющих вперевалку по супермаркетам средне-западных штатов Америки. Но эти несчастные моллюски могут, по крайней мере, оправдываться бедностью и неведением как главными причинами пристрастия к медленно убивающему их высокофруктозному кукурузному сиропу, мороженому и сосискам, зажаренным в кукурузном тесте. А где взять такие оправдания рок-звезде, биржевому кудеснику, актеру, радиожурналисту, автору бестселлеров или эстраднему комику?

Противоположный угол ринга занимает полный антипод этого безжалостного приговора. Он пытается доказать, что наркотическая зависимость есть состояние, нередко унасле-

дованное или врожденное, а единственный способ преодолеть его, пусть даже оно не является «настоящей» болезнью, состоит в том, чтобы *относиться к нему как к болезни*.

Я хорошо понимаю, с каким презрением, завистью, негодованием, пренебрежением и нетерпимостью взируют в нашем мире многие на столь омерзительно названную и столь омерзительную *по сути своей* «культуру звезд». Избалованное меньшинство, к которому я поневоле принадлежу, чуть ли не подталкивают к вере в то, что его воззрения на что угодно, начиная с политики, искусства, религии и общественного устройства, гораздо ценнее, чем воззрения рядового человека. Ох как скромно мы, ох как улыбчиво верховодим всем прочим обществом, получая больше дармовщины, внимания и возможностей, чем нам требуется, между тем как заурядные, *реальные* люди изнывают в борьбе с повседневностью, неухоженные, неуслышанные, отгребаемые бульдозерами или, по меньшей мере, отталкиваемые на обочину жестокой, пустой культурой, которая ставит славу превыше всего, даже денег.

Вот уже четверть века, как я пользуюсь определенной известностью в моей стране и лет пятнадцать за ее пределами – в России, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Книги мои переведены на десятки языков; впрочем, поездив по Восточной Европе и Южной Америке, я обнаружил, что меня принимают за странно видоизменившийся гибрид Джереми Кларксона и Джеймса Мэя^[35] из бибисишной программы *Top Gear*. Каким-то образом обличье рослого упитанного англичанина со странными волосами находит отклик в глазах среднего болгарина или боливийца – если только можно «находить отклик в глазах», разумеется.

Вспоминается чудесная строчка Энтони Бёрджесса из его напечатанной, если не ошибаюсь, в «Обсервере» рецензии на «Приключения киношного ремесленника» Уильяма Голдмана^[36]. Бёрджесс приводит самоопределение кинозвезд: «люди, зазря наделенные случайной фотогеничностью». Впрочем, не исключено, что они выглядят иначе: «люди, случайно наделенные зряшной фотогеничностью». Так уж случилось, что я познакомился с Уильямом Голдманом в середине 90#х, когда Джон Клиз^[37] в изумительном приступе щедрости арендовал судно, на котором около тридцати пассажиров смогли подняться вверх по Нилу. Нам, приглашенным, надлежало собраться в лондонских угодьях Клиза и ни о чем больше не думать: транспорт до аэропорта, билеты на самолет, стирка белья, кормежка, осмотр достопримечательностей, познавательные вечерние лекции – обо всем позаботится наш плавающий «Клариджз», мирно скользящий по речным водам от Каира к Асуанской плотине.

Один день запомнился мне особенно ясно. Мы стояли в тени древнего луксорского пилона, а наш гид рассказывал об иероглифах и иных возвышенных материях. И я задал Биллу несколько вопросов, от которых до того дня по застенчивости воздерживался. Как никак он был героической личностью, написавшей «Приключения киношного ремесленника», а перед тем «Сезон» – все еще остающийся актуальным и безумно (никак не меньше) интересным рассказом об одном годе жизни на Бродвее. А помимо того Голдман написал сценарии «Бутча Кэссиди и Сандэнса Кида», «Всей королевской рати», «Марафонца» и «Принцессы-невесты» и как раз в то время пытался решить, принять ему или не принять предложение Роба Райнера и его студии «Кастл Рок» переделать для экрана «Мизери» Стивена Кинга.

С непростительной, как мне представлялось, бестактностью я кое-как выдавил из себя боязливый вопрос:

– Так... э-э... что же на самом деле представляет собой Роберт Редфорд?

– Ну, – ответил Билл, – скажите сами, что представляли бы собой вы, если бы ни разу за двадцать пять лет не услышали слова «нет»?

Лучшего ответа и не придумаешь. Прожить десятилетия, не услышав слова «нет», – это нельзя, конечно, назвать необходимым и достаточным условием обращения в избалованного поганца или человека, с которым невозможно иметь дело, однако такая жизнь в изрядной

мере приближает нас к объяснению некоторых весьма неприятных особенностей тех, кого именуют звездами.

Вообще говоря, все это несколько смахивает на доводы, которые используются для оправдания людей, выросших среди бедности и надругательств. И не позволяет объяснить, почему многие из тех, кто жил в обстоятельствах столь же нестерпимых и ужасных, не стали гангстерами или подсевшими на крэк головорезами, способными без всякой жалости до смерти забить старика, который попросил их не шуметь. Есть же люди, пережившие детство, которого мы и представить себе не в силах, и тем не менее закончившие университет и ведущие жизнь, наполненную свершениями, добротой и семейным счастьем. Подобным же образом есть признанные звезды – Том Хэнкс, если наобум вытащить имя из Звездной Распределяющей Шляпы, – которые добры, самокритичны, профессиональны, неизбалованы и скромны настолько, насколько сие вообще возможно.

Итак, вернемся к наркотикам. Как я могу объяснить непомерную трату времени и денег, которой сопровождалось мое пятнадцатилетнее пристрастие? Десятки, если не сотни тысяч фунтов и такое же количество часов, отданных нюханью, хрюканью и так далее, часов, которые я мог потратить на писательство, актерскую игру, размышления, прогулки – *на жизнь*. К каким-либо объяснениям я даже подступить не могу, но могу, по крайности, попробовать рассказать, как все было.

Ранние дни

При первом приеме кокаин действует на вас... да никак он не действует. Не получаете вы того огромного, стремительно ударяющего в голову кайфа, каким, говорят, награждает человека героин, кристаллический мет или крэк. Я, будучи нервическим слизняком, ни одного из них не попробовал. Возможно, это подрывает ко мне, как к настоящему наркоману, любое доверие. Мои друзья, такие как Себастьян Хорсли, Рассел Брэнд и покойный Филип Сеймур Хоффман^[38], да и все те рок-звезды 70#х, что не боялись подогреть на пламени чайную ложку, всосать из нее жидкость в шприц, перетянуть с помощью зубов бицепс бечевкой, накачать в него, сжимая кулак, кровь, простукать свое тело двумя пальцами в поисках подходящей вены, где бы та ни обнаружилась – в глазном яблоке, на пенисе – после того, как самые доступные отвердели до бесполезности, а затем надавить на поршень шприца, – вот они и впрямь наркоманы настоящие. Слово «нервический» я почерпнул в прочитанной мной статье Аарона Соркина, давшего миру «Нескольких хороших парней», «Западное крыло», «Социальную сеть» и «Новости». Во время перерыва в репетиции он, бывший прежде заядлым кокаинистом, сказал Филипу Сеймуру Хоффману, что всегда оставался человеком слишком нервическим, чтобы тыкать в себя иглой, а иначе, наверное, подался бы в героинщики. На что Хоффман с присущей ему краткостью ответил: «Нервическим и оставайтесь». А спустя не такое уж и долгое время Хоффман умер. Двадцать три года «чистоты», потом один-единственный рецидив – и все кончено. Это как с ядерным оружием: никто не может назвать его безопасным, потому что оно всего лишь оставалось безопасным *до сегодняшнего дня*, а быть безопасным всегда не обязательно; станет на миг небезопасным – и пиши пропало.

Однако вернемся в Лондон 1986 года, к моему первому опыту по части «кокса». Я нервно наблюдаю, как мой знакомый достает из кармана бумажный пакетик, разворачивает его и вытряхивает на стоящий рядом с ним на столе металлический поднос кучку гранулированного белого порошка. Он берет кредитную карточку и краем ее мягко дробит гранулы, пока те не становятся совсем мелкими. Той же карточкой разделяет порошок на пять равных по длине дорожек, сворачивает в трубочку десятифунтовую банкноту, наклоняется, вставляет один конец трубочки в ноздрю, подносит другой к первой дорожке и резким коротким вдохом втягивает половину ее в нос. Вторая половина отправляется в другую ноздрю, после чего он отдает бумажную трубочку мне.

Я со всей небрежностью, какую мне удастся изобразить, воспроизвожу его действия. Рука моя слегка подрагивает, я далеко не слегка обеспокоен тем, чтобы не чихнуть на печально известный по «Энни Холл» манер Вуди Аллена. Сломав когда-то нос, я обзавелся смещением перегородки, отчего мои ноздри редко пребывают в полном рабочем порядке одновременно. Со всей доступной мне силой я пытаюсь втянуть часть моей дорожки в слабую левую ноздрю, и ничего не происходит. Смущенный, я, всхрапнув от натуги, отправляю всю дорожку в правую, чистую ноздрю. Порошок ударяет в заднюю стенку моей глотки, щиплет глаза. Наступает черед трех других участников этой церемонии, таких же неофитов, как я.

Я сижу, ожидая галлюцинаций, транса, блаженства, эйфории, экстаза... *чего-нибудь*.

Наш хозяин, лизнув указательный палец, собирает остатки порошка и втирает их в десны – таково его законное право.

– Э-э... – произносит один из нас, человек куда более храбрый, чем я, – и что мы должны почувствовать?

– Ну, такой легкий кайф, – эксперт хлопает в ладоши и шумно выпускает из легких воздух, – и просто... приятность. Тем-то кокс и хорош. Он вроде как мягкий.

До того времени единственным незаконным наркотиком, какой я попробовал, был гашиш, и он мне, стыдно признаться, совсем не понравился. Каннабис, даже в умеренных его разновидностях вроде травы и смолки, какие были доступны тогда, до наступления эры «сканка» и «бутончиков», мягким определенно не был – ни по действию, ни по последствию. В 1982#м я однажды заблевал благодаря ему стены, пол и потолок уборной в доме друга – дело было через несколько месяцев после возвращения наших «Огней рампы» из Австралии. Сколько-нибудь различного удовольствия от травки я, на каком угодно этапе ее употребления, не получил и в дальнейшем более-менее зарекся с ней связываться. Большинство людей подбирает для себя наркотик, который их устраивает, будь то никотин (не такой уж и поведенческий модификатор), кофе, марихуана, спиртное, кетамин, кристаллический мет, крэк, опиум, героин, амфетамин, экстази. Я почти сразу решил, что каннабис не для меня, и даже на секунду не задумался о том, чтобы подыскать ему замену.

И теперь, откинувшись в кресле и вникая в воздействие кокаина, я, должен признаться, отмечаю в конце концов благодетельное возбуждение. Я обнаруживаю также, что все мы стали чуть более разговорчивыми. Говорили мы, правда, друг друга не слушая, – особенность, которую мне в скором времени предстояло осознать со всей ясностью.

Краткая история марафета

Как известно большинству людей, кокаин (если будете называть его «марафетом», вас сочтут человеком куда более знающим и клевым) получают из коки, растения, распространенного в Южной Америке – преимущественно в Колумбии, Перу и Боливии. Листья его имеют в этих странах свободное и законное хождение, их жуют или заваривают в виде чая, именуемого «мате», – утверждается, что они помогают справляться с усталостью и нередкой в высокогорных Андах высотной болезнью. Прием этих листьев или настоек на них не порождает, даже отчасти, какой-либо эйфории или возбуждения из тех, что ассоциируются с кокаином, зато они богаты, как уверяют, самыми разными витаминами, минеральными веществами и волокнами.

Когда я в мою дымную и одышливую сигаретную пору приезжал в Южную Америку, ее обитатели науськивали меня жевать листья вместе с лаймом, добавлять лаймовый сок в мате, дабы ускорить действие коки (весьма слабое) и помочь мне приспособиться к утомительной жизни на высокогорье.

Полагаю, добавление лайма есть уважительный поклон в сторону кислотно-щелочной экстракции, посредством которой кока обращается в кокаин – наркотик класса А, основу индустрии с оборотом в миллиарды долларов, неперемного участника уик-эндов рабочего класса, журналистского класса, сельских и городских общин. Популярность его все возрастала и возрастала с 1970#х, да и поныне никаких признаков упадка не демонстрирует. Один из наших главных констеблей не так давно сказал мне, что в рыночных городах Восточной Англии разжиться кокаином легче, чем на Сохо-сквер. Вот истинно Ломбард-стрит супротив апельсина¹³: по пятничным и субботним вечерам кокса в Донкастере потребляют больше, чем в Челси. Дешевым его не назовешь, однако в течение последнего десятилетия с хвостиком цена кокаина оставалась вполне устойчивой, и сейчас он отнюдь не является прерогативой членов «фасонистых», как это когда-то называлось, клубов Сохо или Мэйфера.

Девятнадцатый век ознаменовался открытиями, которые позволили обратить безвредный, не создающий совершенно никакого привыкания листок произрастающего в Андах кустарника в кокаин (суффикс -ин присваивается химиками алкалоидам: кофейный алкалоид – кофеин; алкалоид *Atropa belladonna*, она же красавка, она же сонная одурь – атропин,

¹³ Расхожая некогда фраза, теперь, похоже, никому не известная, – посмотрите в словаре, она того стоит (*прим. СФ*).

и так далее). С другой стороны, героин получил свое название от одарившей нас аспирином немецкой компании «Байер», потому как считалось, что вещество это наделяет его потребителя геройскими качествами.

Не кто иной, как Зигмунд Фрейд, оказался одним из первых медицинских светил, писавших о свойствах кокаина, который был в девятнадцатом столетии своего рода *rara avis*¹⁴, поскольку наркотики в большинстве своем добывались из растений семейства маковых: морфий, опий, кодеин и любимый напиток королевы Виктории, лаунданум, то есть спиртовая настойка опия, – пальчики оближешь, как говаривала Нэнси Митфорд. Работа Фрейда «*Über Coca*»¹⁵ содержит чарующие, важные сведения о воздействии нового наркотика на автора и на его пациентов-добровольцев – отловленных на улице бродяг.

В свете нижеследующих сообщений можно предположить, что при продолжительном, но умеренном употреблении кока не причиняет вреда организму человека. Фон Анреп^[39] в течение 30 дней давал животным умеренные дозы кокаина и не обнаружил пагубного воздействия на их жизненные функции. На своем опыте и на опыте других наблюдателей, способных оценить такие явления, я убедился, что первая доза и повторные дозы коки не вызывают непреодолимого влечения к этому стимулятору; напротив, человек испытывает немотивированное отвращение к этому веществу.

Как будто и я хочу...

Прием доз от 0,05 до 0,1 грамма *cocainum muriaticum* вызывает приятное возбуждение и продолжительную эйфорию, которая ничем не отличается от нормальной эйфории здорового человека. При этом полностью отсутствует ощущение возбуждения, которое сопровождает прием алкоголя. Кроме того, отсутствует характерное желание немедленно действовать, которое возникает после приема алкогольных напитков. Индивид ощущает повышенное самообладание, увеличение работоспособности и прилив энергии. С другой стороны, в процессе работы индивиду недостает тех умственных способностей, увеличение которых вызывает алкоголь, чай или кофе. Индивид чувствует себя нормально и вскоре приходит к заключению, что ему трудно поверить в то, что он находится под воздействием наркотика.

Так Фрейд еще и *пил* на работе? О, ладно, это многое объясняет... Позвольте повторить:

В свете нижеследующих сообщений можно предположить, что при продолжительном, но умеренном употреблении кока не причиняет вреда организму человека.

Оставим без внимания столь радостно звучащую «внезапную сердечную смерть», о которой нынешние доктора и работники центров реабилитации любят рассказывать, демонстрируя то, что я могу назвать лишь бестактной радостью.

В отличие от незаменимого алкоголя кока оказывает более эффективное стимулирующее воздействие и при длительном применении

¹⁴ Редкая птица (*лат.*).

¹⁵ О коке (*нем.*).

не причиняет вреда. Единственное возражение против применения коки – ее высокая стоимость.

Замечание о цене остается, подозреваю, актуальным и ныне, и от алкоголя в мире умирает гораздо, гораздо больше людей, чем от кокаина. Даже принимая во внимание нынешнее намного более широкое его использование, смерть от длительного приема кокаина умеренно редка, я думаю, хотя неслыханной ее, конечно, не назовешь.

Длительное применение коки настоятельно рекомендуется (и, как утверждают, было успешно опробовано) при болезнях, связанных с перерождением тканей. К числу таких болезней относятся выраженная анемия, туберкулез легких; продолжительное применение коки рекомендуется после перенесения данных болезней... Аборигены Южной Америки изображали богиню любви с листьями коки в руке и не сомневались в стимулирующем воздействии коки на гениталии.

Спросите любого кокаиниста со стажем, мужчину, разумеется, и все они, наверное, согласятся со словами Привратника из «Макбета», говорившего, правда, о спиртном, но все сказанное им можно отнести и к коксу.

Похоть, сэ, оно тоже возбуждает и в то же время не возбуждает; оно возбуждает желание, но мешает ему осуществиться. Поэтому хорошая выпивка, можно сказать, двурушничает с развратом: она его создает, она же его и расстраивает; она его подстрекает, она же его и ослабляет; она его уговаривает, она же его и отвращает; она его твердо ставит, и она же не дает ему стоять; и в заключение она ухитряется уложить его спать и, только уложив, оставляет его¹⁶.

Другое дело, что кокаин не столько «укладывает вас спать», сколько заставляет бодрствовать – с текущим носом, несколько часов кряду; вы тарачитесь в потолок и даете на завтра обещания, которых, сознаете вы, не сдержите.

Мантегацца^[40] подтверждает, что у *coqueros*^[41] сохранялась половая потенция на высоком уровне вплоть до преклонного возраста. Более того, он сообщает о случаях восстановления потенции и исчезновения функциональной слабости после применения коки, хотя сам Мантегацца не верит в способность коки оказывать такое воздействие на каждого индивида.

Марво решительно отстаивает точку зрения, согласно которой кока оказывает стимулирующее действие; другие специалисты настоятельно рекомендуют применение коки в качестве лекарства от временной функциональной слабости и истощения. Бентли сообщает об одном из таких случаев, когда применение коки привело к излечению пациента.

Три человека из тех, кому я давал коку, сообщили о сильном половом возбуждении, которое они не колеблясь приписали воздействию коки. Молодой писатель, которому кока вернула работоспособность после продолжительной болезни, отказался от употребления наркотика из-за нежелательных побочных эффектов.

То есть одного пациента достигнутое вследствие приема наркотика возрастание либидо смутило до того, что он употреблять кокаин отказался. Ничего себе «нежелательный побочный эффект». Итак, «виагра», рабочая лошадка, лекарь от многообразных изну-

¹⁶ Перевод А. Радловой.

рительных болезней, менее опасный или изменяющий личность, чем алкоголь, – в общем, кокаин – был принят девятнадцатым столетием и, как хорошо известно, дал напитку «кока-кола» первую половину его названия, хотя в 1929#м компания, производящая этот напиток, кокаин из списка ингредиентов изъяла. Доступен он был повсеместно и законно в виде пастилок, пилюль или микстур, как тоник или (в чем присутствовало внутреннее противоречие) целебное средство, наиболее действенное при лечении запоров, но и волшебным образом помогавшее укреплять жидкий, а то и водянистый стул. Кокаин способствовал концентрации и работоспособности, подбадривал меланхоликов, а в малых дозах замечательно помогал успокаивать расшалившихся детей.

Происходило все это в период Большого Загула, примерно обозначенный социальными историками как 1870–1914, – по окончании его разразилась и все испортила Первая мировая война. Едва ли не при первых же звуках военной трубы пиво стало менее крепким, часы продажи спиртного сократились, а в 1915#м французы запретили истинное олицетворение Большого Загула – абсент. А между тем, пока Загул длился, вы могли без рецепта покупать у вашего местного фармацевта или в аптеке все что угодно, и никто не лез к вам с вопросами. На Сент-Джеймской площади, в обслуживавшем королевскую семью элегантно и величавом «Фортнум энд Мэйсон», продавались исполненные вкуса корзиночки с крышечкой, содержавшие серебряные шпательки со шприцами и *étuis*¹⁷ – любящие родители посылали в них кокаин и героин на фронта Англобурской и (в начальные ее годы) Первой мировой. Собственно говоря, «бензедрин» (торговое название разновидности амфетамина, или «спида») и во время Второй мировой входил в обычный рацион командос. В романах Яна Флеминга Джеймс Бонд с него, можно сказать, не слезает. Так уж мне не повезло – родиться в эпоху, когда практически все волнующее, соблазнительное, чарующее, рискованное и приятное самым яростным образом объявляется незаконным. Комики и актеры поколения, которое предшествовало моему, обращались, когда им внушал тревогу их вес, к докторам и получали столько рецептов на «беник», сколько просили. Вообще говоря, все, что ускоряет и стимулирует метаболизм, ослабляет аппетит. Хорошо известно, однако, что такие антидепрессанты, как каннабис, «пробивают на хавчик», как это не очень симпатично называется. Компании молодых мужчин и женщин, наводняющие круглосуточные заправочные станции, чтобы закупить «Марсы», «Доритосы» и полные пакеты суррогатной еды, – вот нагляднейшее из возможных свидетельств вечера, проведенного в компании, где по кругу гулял косячок-другой.

Может быть, сама незаконность кокаина меня и притянула. А может, где-то на задворках моего сознания отзывался слабым эхом Шерлок Холмс с его семипроцентным раствором. Не исключено также, что моя сексуальность или даже мое еврейство внушали мне глубинную веру в то, что *нормальным* я никогда не буду. Что так навсегда и останусь аутсайдером, маргиналом.

В наши дни происходит забег, в котором участвуют органы наркоконтроля, с одной стороны, и предприимчивые химики всего мира – с другой. Измените молекулу здесь, молекулу там, и вы получите «легальный наркотик» – какую-нибудь таблетку (она рекламируется как средство для «придания блеска листьям здорового растения»), а вовсе не для употребления человеком), от которой вы совершенно очумеете дня на полтора. Что при моем расписании, пожалуй, является перебором.

Существует истина столь очевидная, что люди ее не замечают: *одно и то же* вещество может совершенно по-разному действовать, да и действует, на разных людей. Лучший пример – аллергия: индивидуум А заглывает пакетик арахиса и, удовлетворенно рыгнув, просит второй, между тем как индивидуум Б катается по полу, задыхаясь от анафилаксии, лишь

¹⁷ Игольник (*фр.*).

потому, что надкусил яблоко, снятое с дерева, которое выросло вблизи фабрики, десять лет назад производившей пищевые продукты с содержанием этих самых орешков.

То же и со спиртным. Мы можем сидеть за столом и пить наравне с другом бокал за бокалом, пока не наступит миг, ужасный, унижительный для всех миг, когда веки друга опадут, будто шторы, вниз и он (или она) начнет препираться с официантами, повторять одни и те же слова, лезть в драку и вообще повергать всех и вся в препротивное, несказанное смущение, внушая им желание очутиться как можно дальше от этого места. И ведь выпил-то он (или она) столько же – с точностью до одной шестнадцатой унции, – сколько вы, но между тем вы вполне способны перемещаться по прямой линии, цитировать «Озимандиаса»^[42], решить кроссворд и выпить еще четыре бокала, не почувствовав ничего, кроме легкого прилива веселья. Сколько раз я говорил моим наживавшим неприятности с бутылкой друзьям, что они должны просто принять очевидный факт, сколь несправедливым он им ни кажется: вы страдаете, по сути дела, аллергией на спиртное... и это даже с физическими размерами никак не связано. У меня были здоровеннейшие знакомые, которые просто не могли пить, и я знал грациозную девушку, которая могла пить безостановочно без каких-либо намеков на неуравновешенность, агрессивность и пошатывание.

На мое счастье (а может, и несчастье), я обладаю высокой терпимостью к спиртному. Правда, было время, когда я безрассудно добавлял к вину одну-единственную таблетку и просыпался наутро в постели, не имея ни малейших воспоминаний о том, как я до нее добрался и где провел вчерашний вечер.

А вот еще одна черта моей натуры, о которой я должен сказать со всей прямоотой и ясностью: *мне отвратительны вечеринки*. Не думаю, что найдется человек, которого я любил бы так сильно, как ненавижу вечеринки. Первое, что я чувствую, попадая на них, это желание уйти. Общие обеды в частном доме или ресторане в счет не идут. Но вечеринки с музыкой, со стоящими там и сям людьми, вечеринки с музыкой, вечеринки с буфетами или разносящими закуски официантами, вечеринки с музыкой, вечеринки, на которые приносишь с собой бутылку, вечеринки с музыкой, вечеринки у бассейна... про музыку я говорил? В романе Ивлины Во «Мерзкая плоть» есть знаменитые слова, которые я почти полностью использовал, перенося книгу в 2002#м на экран: «Ох, Нина, сколько же всяких вечеров... все эти сменяющиеся и повторяющиеся друг друга людские скопища... Эта мерзкая плоть...»¹⁸ Во был грубияном и снобом, задирой и мошенником, но писал как ангел, и, когда дело касается вечеринки, мы с ним (или, по крайности, с его героем Адамом Фенвик-Смайзом) ничем друг от друга не отличаемся.

В сообществе геев, к которому я не принадлежу, хоть и получил при рождении сексуальную визу, в коей сказано, что я его гражданин, громкие музыкальные сборища давали наименее жалкую возможность подыскать партнера на ночь или – заранее же не знаешь – на срок более долгий. Эти сборища происходили в гей-барах, где пульсировали Донна Саммер, *Blondie* и *Eurythmics*, или в местах наподобие «Рая» (было такое за Чаринг-Кросс) – самой, предположительно, большой дискотеки Европы. Я побывал в «Раю» только раз и счел его адом. Шум, пристальные взгляды, ошупывающие тебя с головы до пят. Я понимал, что не дотягиваю до идеала, который, если не ошибаюсь, подразумевал в те дни майки либо клетчатые рубашки, усы, джинсы и обилие мышц. В общем, клонированное обличье, как его называли по причине обилия таких дубликатов.

В тот единственный раз, что я побывал в «Раю» (знаю-знаю, хорошее название для ночного клуба), я увидел счастливо и яростно танцевавшего Кенни Эверетта^[43]. Он заворковал, послал мне свой особого рода воздушный поцелуй и откинул голову назад, словно желая сказать: «Дорогуша!» – но тут его поглотила отплясывающая толпа.

¹⁸ Перевод М. Лорие.

Увидел я и моего кембриджского знакомого Оскара Мура. Ему еще предстояло написать «Вопрос жизни и секса» под псевдонимом Алек Ф. Моран (анаграмма *roman a clef*¹⁹) и стать редактором посвященного кино журнала «Скрин Интернешнл». Каждые шесть месяцев или около того Би-би-си увольняла и вновь принимала Эверетта на работу, увольняла и вновь принимала, увольняла и вновь принимала²⁰. Спустя недолгое время и Мура, и Эверетта постиг мучительный и горестный конец.

Секс

Прошу меня простить за перескакивание с одного на другое, впрочем, я вас предупреждал. В середине третьего десятка у меня завязались серьезные сексуальные отношения, отличные от обычных школярских проказ и случайных нервических совокуплений, – они приняли форму партнерства с моим уже упоминавшимся блестящим и верным другом Кимом. Мы были любовниками еще в Кембридже, и лишь необходимость еженедельно ездить в Манчестер, чтобы сниматься там в моем первом телевизионном шоу «На природе», заставляла нас разлучаться. Возможно, слишком часто, поскольку мой восхитительный возлюбленный любил и то, чего я на дух не переносил, – «сходки», те самые гей-клубы, и пабы, и их музыку. Сам-то я обожал разговоры. Порой даже те, в которых помимо меня участвовал кто-то еще. А как можно разговаривать, когда у тебя в животе вибрирует «Прибавь-ка звук», обращая твой осиплый голос в шепоток, коего и в тихой монашеской келье никто не смог бы расслышать?

И, вернувшись в один из уик-эндов домой, я обнаружил там молодого греко-американца по имени Стив. Я тихо-спокойно перебрался в гостевую комнату нашей челсийской квартиры, они заняли главную спальню. Да, в те блаженные времена человек, всего год как закончивший университет, мог жить в квартире с двумя спальнями, в Челси, между Кингз-роуд и Бромптоном. Ну, это я так говорю, «человек», – родители Кима были богаты, и далеко не всем моим сверстникам везло в той же мере, некоторые селились в дальней дали вроде Клапама и Ислингтона. Успеть появиться на свет, уцепившись за фалды уходящего всплеска рождаемости, означало получить крупный выигрыш в лотерее жизни. Я совершенно уверен, что нынешняя молодежь не нуждается в моей жалости, но сочувствие, желанное или нежеланное, она уже получила.

Все прошло гладко, Стив был очарователен, я себя преданным ничуть не считал, и с тех пор мы с ним так и остаемся лучшими друзьями.

Такое мое холостячество и присущая мне ненависть к гей-клубам и пабам совершенно случайно пошли мне на пользу, поскольку именно в то время, когда я вышел из университета в широкий мир, в него же заявился и ВИЧ; впрочем, впервые я услышал о нем как о ГИДе – гомосексуальном иммунодефиците. К концу десятилетия я уже насиделся у больничных коек многих моих знакомых и еще большее их число похоронил. То, что я увернулся от смертного савана, в который СПИД запеленал целое поколение геев и потребителей внутривенных наркотиков, о моей добродетельности вовсе не говорит, как не говорит ничего о порочности болезнь и смерть тех, кого он окутал. Следует признать, конечно, что после того, как стали известными определенные факты, ухитриться подцепить вирус было довольно глупо, однако самые яростные мои чувства обращены были в то время

¹⁹ Зашифрованный роман (*фр.*).

²⁰ После трех выпусков его шоу до кого-то из чиновников Би-би-си наконец дошла ужасная правда: имя придуманной Эвереттом вульгарной бабы, *Cupid Stunt* («все, знаете, в самом лучшем вкусе»), дает при перестановке первых букв черт знает какую похабень. И в следующем выпуске появилась другая, в точности такая же, но звавшаяся *Mary Hinge*. «Вот видите, стало намного лучше, – сказал чиновник. – Чтобы смешить, вовсе не обязательно быть непристойным» (*прим. СФ*). – *Переводчик от пояснений воздерживается: возрастная категория 68+*.

на истерическое вранье и мифы, которые пыталась увековечить бульварная пресса. И я прикнюлся к первой в Британии благотворительной организации, помогавшей жертвам СПИДа, – к «Трастовому фонду Терренса Хиггинса», с которым сотрудничаю и поныне.

В конце 1980#х и в начале 1990#х мы провели для ТФТХ три или четыре благотворительных шоу «Истерия», из которых два были сняты телевидением. В одном состоялся теледебют Эдди Иззарда, в другом – Вика Ривза и Боба Мортимера^[44]. Звезд среди участников этих благотворительных вечеров более чем хватало, раскошегарить публику было очень легко, и, когда ты, распорядитель, выходил на сцену, чтобы объявить: «А сейчас, леди и джентльмены, расстегните ремни и подтяните колготки, ибо вы увидите... мистера... Роузена Аткинсона!» или «...мисс Дженнифер Френч и Дону Сандерс!» – зал отвечал криком, топотом, радостным свистом – приветствиями, которые ударяли в тебя, как силовое поле. Но если то, что показывали артисты, не было совершенно изумительным, уход их со сцены сопровождался звуками несколько менее бурными. Естественно, это не свидетельствовало о провале. С каким трепетным удовольствием объявил я однажды: «Я знаю, что вам он понравится, поприветствуйте удивительного Эдди Иззарда!» Нельзя, конечно, сказать, что ответом мне был одинокий кашель, скорбный удар колокола или нечто унылое, как перекасти-поле, столь любимое сценаристами «Симпсонов» и много чего еще, однако прием был всего лишь оживленно вежливым – ну, может, чуть более того. Зато когда он уходил – боже ты мой! Публика провожала его стоя, ей-ей. Мне пришлось вытолкнуть Эдди из-за кулис навстречу новому всплеску одобрительного рева. Я повернулся к одному из продюсеров, и мы с ним одновременно произнесли: «Рождение звезды». Знаю, это паршивый штамп шоу-бизнеса, но ведь и без них тоже не всегда обойдешься.

Странно, но правда: пока я писал последний абзац, по электронной почте пришло напоминание об июньском торжественном обеде «Трастового фонда Терренса Хиггинса». Вот уже двадцать с чем-то лет я произношу на этих мероприятиях речи, призывая присутствующих жертвовать фонду побольше денег, и перед каждым выступлением меня постигает приступ паники – что им еще сказать-то? Не повторяться становится с каждым годом все труднее. Может быть, на сей раз я смухлюю и прочитаю несколько страниц из этой книги.

На удивление, многие из вас (на мое удивление, поскольку, вопреки уверениям моего паспорта, я, по-моему, все еще болтаюсь между серединой третьего десятка лет и началом четвертого) на самом деле толком не знают, насколько бедственной, уродливой, безысходной, разрушительной и устрашающей была эпидемия СПИДа. Переход человека от «ВИЧ-инфицированного» к обладающему «резко выраженным СПИДом» – всегда «резко выраженным», другой формулировки так никто и не придумал – означал верную смерть. Ну, не совсем верную. У двоих моих знакомых этот диагноз уже давно, но у них, похоже, водятся какие-то врожденные антитела. Естественно, вирусологи так и кишат вокруг них, пытаюсь понять, почему они оказались иммунными.

Умиравший от СПИДа человек похож на чудом уцелевшую жертву нацистского лагеря смерти – изнуренную, исхудалую, с ввалившимися щеками, сухими, потрескавшимися губами, с тусклыми проблесками страха, боли и безнадежности в глазах. И всегда он часто дышит, ибо легкие несчастного поражены и не дают вести с навесившим его другом никаких разговоров, кроме самых банальных и натужно веселых.

Возможно, наиболее душераздирающим зрелищем, какое я когда-либо наблюдал, были испуганные родители, сидевшие по одну сторону больничной койки их умиравшего, иссохшего ребенка, между тем как по другую ее сторону сидел (не знаю чего ради) его совершенно здоровый, неинфицированный партнер. Родители искоса поглядывали на него и, казалось, хотели сказать: «Вот что *ты* сделал с нашим мальчиком. Это *ты* его убил. Почему же не умираешь и *ты*?»

Если бы я получал удовольствие от «геевского образа жизни», от фланирования по клубам и барам, то, весьма вероятно, давно бы уж попал на тот свет. Каждый, кому доводилось видеть больного СПИДом, знает: самое жестокое и невыносимое – это не сама смерть, а мучительно долгое умирание.

Как часто моим знакомым приходилось в один присест обрушивать на своих родителей две сокрушительные новости:

– Мам, пап, мне нужно кое-что вам сказать. Я гей.

– Что?

– Да. И у меня, ну, СПИД.

Вообразите себе семью, в которой такое случается. Я знал нескольких героических родителей, проживших от пятнадцати до двадцати лет в тревожном ожидании серопозитивного, как называли это врачи, результата анализов, равного смертному приговору.

Святоши, провозглашающие с кафедр и в евангелических телевизионных программах, что все это – наказание Господне за порочную извращенность, никак не могут объяснить, почему их мстительное божество не удосуживается покарать чумой и мучительной смертью детских насильников, мучителей, убийц, грабителей, избивающих старух, чтобы отнять у них пенсию (а заодно уж и лживых, вороватых, погрязших в прелюбодеянии, лицемерных священнослужителей и проповедников, что время от времени появляются в новостях со слезливыми покаяниями), приберегая это на редкость гадостное поветрие лишь для мужчин, которые предпочитают возлежать друг с другом, и наркоманов, беспечных по части использования шприцев. Странное какое-то божество. В последнее время оно развлекалось, да и сейчас развлекается, наблюдая за чудовищным числом женщин и девочек, которых насилюют в странах, лежащих к югу от Сахары, и разя мстительным гневом еще не рожденных ими детей. Мне хотелось бы узнать от ревнителей веры, почему оно так поступает и какого рода кайф ловит при этом. Впрочем, мы тратим время на тех, кто недостоин даже презрения.

Думаю, мы еще вернемся к сексу – несколько позже, – но сейчас-то мы где? Перед тем как ваше ажиотажное, нечистое любопытство увлекло меня на ложный путь, заставив удариться в неуместное эротическое отступление, мы обсуждали первое внутринесовое введение кокаина в мой организм. И я написал, что его воздействие на меня находилось где-то между нулевым и минимальным. Слегка возросшая склонность к многословию, легкое подпрыгивание колена. Тем не менее тот памятный вечер остался со мной навсегда. Все мы приняли по второй дорожке, прикончив запас нашего друга, – в конце концов, он был всего лишь низкооплачиваемым актером. И эта вторая доза меня проняла. Не поймите меня неверно. Несколько затяжек или шприцев героина еще не обращают вас в наркомана, хотя двадцать и более вполне на это способны. Вторая дорожка в полной мере снабдила меня тем, что Фрейд назвал «эйфорией», – ощущением энергии и оптимизма, которое внушило мне мысль, что этот наркотик словно для меня и создан.

Странная особенность кокаина состоит в том, что он вызывает скорее *пристрастие*, чем привыкание. Таллула Бэнкхед^[45] говорила об этом так: «Голубчик, кокаин – не привычка. Уж я бы знала, я его двадцать лет нюхаю». Вот алкоголики, курильщики и героинщики – те страдают от привыкания. И, как я себе представляю, привыкание нарастает после первой же простой встречи с этими наркотиками. Между тем каждый в той комнате, а все мы были близкими друзьями, отзывался на кокаин по-своему. Во мне присутствовало нечто более темное, опасное и – будем честны – туповатое, чем в них. Социально, психологически и духовно туповатое. Имбецильное. Саморазрушительное.

К концу 1980#х мне и в голову не приходило выйти вечером из дома без трех-четырех граммов кокаина, надежно упрятанных в карман, я уж скорее бы ноги дома оставил.

И однако ж я без всяких хлопот просто-напросто уехал за город, в Норфолк, и написал мой первый роман «Лжец», просидев за компьютером четыре месяца, и мне даже *мысль* о кокаине ни разу в голову не пришла, а к тому времени я вот уж пять лет как регулярно нюхал его. И едва ли не каждый день.

Кокаин, смею сказать, подждал меня, пребывая в состоянии полной готовности, но подлинная причина, по которой я радостно принял его, была такой: я обнаружил, что он способен давать мне второе существование. Теперь я мог, закончив выступление, не заваливаться в 11 вечера в постель с кружкой горячего молока и книжкой П. Г. Вудхауза – нет, кокс открывал передо мной совершенно новые ворота в ночную жизнь. Я впервые начал получать подлинное удовольствие от вечеринок, правда, все-таки вечеринок без музыки; с ними, как ни нанюхайся, все равно не поладишь. Два-три пакетика в кармане и свободный доступ к уборной с не слишком убогой и не слишком длинной очередью к кабинкам обращали меня в нового, общительного, любящего повеселиться Стивена. Я становился уже не стахановцем, сочиняющим колонку за колонкой для одного журнала за другим, текст за текстом для закадровых голосов, восхваляющих крем для лица и собачьи галеты, и телемонолог за телемонологом для всякого, кто попросит, – ничуть, я становился Стивеном-заядлым-гулякой, которого всегда можно было увидеть в «Занзибаре» на Грейт-Куин-стрит, Ковент-Гарден, или в его прославленном, «легендарном», как любят выражаться американцы, преемнике, клубе «Граучо» на Дин-стрит, Сохо. Спать я ложился в четыре-пять утра, а вставал в десять, и отлично себя чувствовал, и был готов к любым испытаниям журнальными статьями, рецензиями, сценариями для радио и всем, чего от меня потребует день.

И с этим мне опять-таки повезло – или не повезло. Я знаю многих, многих людей, которые уверяют, что им нравится кокс, но они не способны наутро очухаться и еще дня два потом еле волочат ноги. На меня он по какой-то причине никогда так не действовал. Я пробуждался, упруго вскакивал на ноги и кошачьей походкой отправлялся на кухню в поисках завтрака – к сварливому недовольству Хью, с которым мы в то время еще делили дом (равно как с его девушкой и другими кембриджскими друзьями). Самой резвой птичкой утренних небес Хью никогда не был, а проведя день в спортивном зале и завалившись спать в 23.30 (ограничиваясь в промежутке диетой из джина с тоником), он назавтра еле ползал, несмотря на семь чашек кофе, до самого послеполуночного времени.

Я пребывал на вершине блаженства. Знакомился с новыми людьми на вечеринках самого разного толка – не только кокаиновых, но также дипломатических, политических, светских и тех, что устраивали чокнутые компьютерщики. И никогда не приходил на них без моего маленького друга в кармане.

Принадлежности

Тема эта не самая главная: если у вас имеется грамм-другой и какая-нибудь – любая – поверхность, к которой порошок не прилипнет и на которой не намокнет, то, честно говоря, все, что вам еще может потребоваться, это денежная бумажка и кредитная карточка. Собственно, вы можете даже зачерпнуть порошок уголком визитной карточки или взять его в щепоть и соорудить у себя на ногте или на поверхности сжатого кулака «кучку», а затем втянуть ее носом, точно какой-нибудь любитель нюхательного табака эпохи Регентства. Заядлый кокаинист всегда сумеет распорядиться своим припасом. Однако для более опрятного, аккуратного и *чистого* употребления порошка я обзавелся маленьким комплектом инструментов. Заглядывая в тон-студии Сохо, дабы воспеть прелести изделий компании «Лореаль» или стирального порошка двойного действия, я не упускал ни единой возможности стянуть, когда никто на меня не смотрел, очередную «редакторскую» бритву с защитной планочкой сверху, которыми в ту пору – пору старых аналоговых катушечных магнито-

фонов – разрезали пленку, и так скопил полезную их коллекцию. А при всяком посещении «Макдоналдса» обзаводился еще одним трофеем. Красно-бело-желтые, как Роналд Макдоналд, питьевые соломинки, стоявшие там на столиках вместе с салфетками и пакетиками кетчупа, были идеалом потребителя кокаина. Защищенные гигиеничной упаковкой, имевшие большее, чем у средних соломинок, сечение, они горстями уносились домой, где каждая аккуратно разрезалась ножницами пополам, и в результате получались лучшие из возможных нюхательные трубочки. Да еще и моющиеся. Я хочу сказать: ради всего святого, если ты щедро делишься своим запасом, а я всегда гордился таким моим достоинством, как можешь ты знать, что за микробы обитают в сопливых ноздрях твоего компаньона, который, нюхнув, возвращает тебе трубочку?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания переводчика и редактора

1.

Кэти Прайс, она же Джордан (р. 1978), Катрина Эми Александра Алексис Инфилд – британская певица, автор песен, фотомодель, телеведущая, писатель, актриса, модный дизайнер и прочее.

2.

«White Heat» – гангстерский фильм-нуар 1949 г., у нас известнее под названием «Белая горячка».

3.

Герой фильма «Побег из Шоушенка» (1994), которого сыграл Тим Роббинс.

4.

Построенный в 1770#х фешенебельный жилой дом на Пиккадилли. В нем, помимо прочих, жили Байрон, Маколей, Гладстон, Хаксли, Пристли.

5.

«Весьма нескладен, но выстроен в правильном духе» – так отозвался знаменитый архитектор Эдвин Лаченс (1869–1944) о бутонском соборе Св. Михаила Архангела, не раз упоминаемом в этой главе.

6.

Бигглз, он же майор Джеймс Бигглзуорт, – авиатор и авантюрист, персонаж многочисленных рассказов английского летчика и писателя У. Э. Джонса (1893–1968).

7.

Мистер Микобер – персонаж «Жизни Дэвида Копперфилда» Чарлза Диккенса, фонтанирующий оптимизмом в самых ужасающих обстоятельствах.

8.

«Граппер» Трабли появляется в одной из книг о приключениях Бигглза писателя У. Э. Джонса.

9.

Жермен Грир (р. 1939) – английская феминистка, писательница и телеведущая.

10.

Малколм Гладуэлл (р. 1963) – канадский журналист и писатель. Упоминаемая книга увидела свет в 2008 г.

11.

На самом деле Певзнер процитировал Лаченса.

12.

Сэр Джон Бетчман (1906–1984) – английский поэт и писатель, один их основателей «Викторианского общества».

13.

Сэр Бэнистер Флетчер (1866–1953) – английский архитектор и историк архитектуры, написавший вместе с носившим то же имя отцом образцовый учебник «История архитектуры».

14.

Институт истории искусства, входящий в состав Лондонского университета; основан текстильным фабрикантом и коллекционером Сэмюэлем Курто.

15.

Огастэс Пьюджин (1812–1852) – английский архитектор и теоретик архитектуры, создатель Биг-Бена; Джилберт Скотт (1811–1877) – английский архитектор; оба прославились как корифеи неоготики.

16.

Гертруда Джекилл (1843–1932) – английский садовод и парковый архитектор, создавшая более 400 парков в Британии и США.

17.

Написанная Энид Блайтон серия детских детективов.

18.

Нэнси Митфорд (1904–1973) – английская писательница и журналистка. Была редактором названного Фраем сборника статей, в котором и сама участвовала как автор.

19.

Марка одежды для подростков и молодежи.

20.

Филип Ларкин (1922–1985) – британский поэт. С. Фрай обыгрывает строку из его стихотворения «Aubade» («Утренняя серенада»): On me your voice falls as they say love should, Like an enormous yes.

21.

Оскар Уайльд. «Как важно быть серьезным» (пер. И. Кашкина).

22.

Тим Бернерс#Ли (р. 1955) – британский ученый, изобретатель Всемирной паутины (совместно с Робертом Кайо) и действующий глава Консорциума Всемирной паутины. Автор множества других разработок в области информационных технологий.

23.

Псевдоним Фредерика Уильяма Рольфа (1860–1913) – английского писателя и эксцентрика.

24.

Норман Дуглас (1868–1952) – английский писатель, автор знаменитого «Южного ветра».

25.

Пол Боулз (1909–1999) – американский писатель и композитор, автор знаменитого романа «Под покровом небес», много лет проживший в Марокко. В состав его «танжерской

компании» входили Гор Видал, Трумен Капоте, Теннесси Уильямс, Алек Гинсберг, Уильям Берроуз и другие.

26.

Дентон Уэлч (1915–1948) – английский писатель и живописец.

27.

Братья Артур Кристофер Бенсон (1862–1925) – английский поэт и эссеист, и Эдвард Фредерик Бенсон (1867–1940) – английский романист, биограф, мемуарист и археолог.

28.

У. Оден. «О, скажите мне правду о любви» (пер. Е. Тверской).

29.

Горацио Нельсон (1758–1805) – великий английский флотоводец.

30.

«Суини» (The Sweeney) – британский криминальный телесериал (1975–1978), в России более известный под названием «Летучий отряд Скотленд-Ярда».

31.

Детективный телесериал «Инспектор Морс» продержался на экранах 12 сезонов, с 1987 по 2000 год.

32.

«Вверх и вниз по лестнице» – британский сериал из жизни светского общества 1930#х годов, продержался два сезона, с 2010 по 2012 год.

33.

Имеется в виду «Аббатство Даунтон» – очень популярный британский сериал, рассказывающий о жизни обитателей аристократического поместья в начале XX века; выдержал уже 5 сезонов.

34.

В документальной книге «Дети солнца» (2008) английский писатель Мартин Грин рассказывает о блестящих молодых людях, которые впоследствии станут цветом нации, сознательно выбравших декаданс как образ жизни и мировоззрение, – И. Во, К. Ишервуде, У. Х. Оден, Д. Оруэлл и других.

35.

Дж. Кларксон и А. Мэй – телеведущие и журналисты, ставшие звездами благодаря их шоу To p Gear. Они первыми добрались на автомобилях до северного магнитного полюса Земли.

36.

Уильям Голдман (р. 1931) – романист, драматург и один из самых авторитетных и успешных голливудских сценаристов, дважды лауреат премии «Оскар», киноклассик.

37.

Джон Клиз (р. 1939) – британский актер, сценарист, режиссер, участник легендарных «Монти Пайтон».

38.

Себастьян Хорсли (1962–2010) – художник, «последний лондонский денди», бравировал своей зависимостью.

39.

Василий Константинович фон Анреп (1852–1927) – русский врач, физиолог и фармаколог, пионер местного обезболивания. Член III Государственной думы.

40.

Паоло Мантегацца (1831–1910) – итальянский врач и гигиенист, много путешествовал, в том числе по Южной Америке, и написал на основе своих впечатлений очерки.

41.

Буквально «жующие листья» – так испанцы называли индейцев Южной Америки.

42.

Сонет Перси Биши Шелли (1817).

43.

Кенни Эверетт (1944–1995) – английский радио– и телевизионный комик и пародист.

44.

Эдди Иззард (р. 1962) – английский актер; один из самых популярных сейчас комиков Британии. Известен, прежде всего, как стендап-комик, на стиль которого серьезно повлияло творчество группы «Монти Пайтон».

45.

Таллула Брокмен Бэнкхед (1902–1968) – американская актриса, знаменитая остроумием, красотой, хриплым голосом и артистичностью.